Айдахо

Автор:
Эмили Раскович

Айдахо

Эмили Раскович

Мощный дебютный роман о любви и прощении, о памяти и беспамятстве. Энн и Уэйд ведут герметичную жизнь в суровых условиях Северного Айдахо. Их связывает не только любовь, но и трагедия, разрушившая первую семью Уэйда. А также память, которая постепенно покидает его. Энн пытается собрать крупицы своих и чужих воспоминаний, осколки загадочной драмы, произошедшей с семьей Уэйда. Поэтично написанная история открывается с разных ракурсов – Энн, Уэйда и его бывшей жены Дженни, которая уже много лет находится в тюрьме. Постепенно Энн реконструирует то давнее событие, трагичное и таинственное, которое сломило Уэйда и Дженни. В одиночку она пытается понять людей, которых никогда не знала.

Эта книга о памяти, о забвении, об исцелении через безусловную любовь и самоотверженность. Читать ее – все равно что затеряться в завораживающих и пугающих пейзажах Айдахо. В 2019 году роман получил одну из самых престижных литературных наград – Дублинскую премию.

Эмили Раскович

Айдахо

Посвящается Дорогой и Па

© Светлана Арестова, перевод, 2021

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2021

2004

Они не ездят на пикапе, разве что один-два раза в год, за дровами. Он стоит чуть выше по склону, возле дровника, в глубоких вмятинах на капоте скапливается дождевая вода, а в ней плавают личинки комаров. Так повелось, когда Уэйд был женат на Дженни, и ничего не изменилось, когда он женился на Энн.

Энн иногда приходит сюда посидеть в пикапе. Но только если Уэйд занят, чтобы он не заметил, что ее нет. Сегодня она пришла якобы за дровами, волоча синие санки по грязи, и траве, и полосам снега. Дровник стоит невдалеке от дома, но сосновая роща скрывает его из вида. Она чувствует себя посторонней, будто все это не предназначено для ее глаз.

Пикап припаркован на редком клочке плоской земли, неожиданная ступень, вырезанная в горном склоне. Вокруг него тут и там, в снегу и в траве, разбросаны кирпичи. У деревьев валяются катушки с искореженной проволокой. С длинной ветки лиственницы, колыхаясь, свисают две толстые веревки, которые когда-то были соединены доской, – детские качели.

На дворе стоит март, солнечный и холодный. Энн садится в водительское кресло и тихонько захлопывает дверцу. Она пристегивается, опускает стекло, и на штанину падают капли воды. Она касается капель пальцем и мысленно проводит между ними линии, соединяя в рисунок. Похоже на мышку или, вернее, на мышку, нарисованную детской рукой, с треугольной мордой и длинным загогулистым хвостом. Девять лет назад, когда Уэйд еще был женат на Дженни и обе его дочери еще были живы, по выхлопной трубе в моторный отсек забралась мышь и устроила на коллекторе гнездо. Не странно ли, что Уэйд наверняка помнит эту мышь, помнит, как она шуршала под капотом, но при этом не помнит, как зовут его первую жену. Так, во всяком случае, иногда кажется. Но мышь – мышь в его памяти еще как жива.

Через несколько лет после свадьбы Энн случайно нашла в ящике с инструментами на верхней полке чулана перчатки из оленьей кожи. Они были куда приличнее рабочих перчаток Уэйда и могли бы сойти за новые, если бы не въевшийся запах гари. Так она узнала про мышь. Она спросила, почему он держит в чулане такие хорошие перчатки. Уэйд ответил, что хочет сохранить запах.

Запах чего?

Запах подпаленного мышиного гнезда.

Последний запах в волосах его дочери.

Уэйд уже давно ничего такого не рассказывал. Он перестал делиться с ней подробностями дочкиной смерти, когда увидел, как сильно она за них цепляется. Он думает, она забыла о перчатках, столько лет прошло. Но она не забыла. Он хранит их наверху, у себя в кабинете, в шкафу с документами. Она как-то раз приоткрыла ящик, и перчатки лежали там.

Мышь, вероятно, провела под капотом всю зиму в тот последний год, когда Уэйд и Дженни были вместе, Мэй была жива, а Джун ничто не угрожало. Энн представляет, как мышь снует туда-сюда по снегу между пикапом и амбаром, таская пучки сена, или утеплителя, или набивки из собачьих подстилок, как ее гнездо разрастается и как по весне у нее появляются малыши. Некоторые малыши долго не протянули, и гнездо впитало их в себя, мелкие косточки – что соломинки. Прибегали сюда и другие мыши; если прижать ухо к капоту, слышно было их возню. Девочкам нравилось это делать.

Во всяком случае, так представляет себе Энн.

Одним августовским днем вся семья села в пикап. Уэйд за рулем, где сейчас сидит Энн, Дженни рядом, их дочки, Джун и Мэй, девяти и шести лет, ютились сзади, с графином лимонада и пенопластовыми стаканчиками, на которых они ногтями корябали рисунки. Им наверняка хотелось поехать в открытом кузове, но мама сказала, что на шоссе это опасно. Вот они и сидели в салоне друг напротив друга, спинами к окнам, стукаясь коленками и переругиваясь.

О мышах они и думать забыли. Поначалу, медленно катясь по проселкам, они ничего не замечали. Но стоило выехать на шоссе в Пондеросе – так называется их город, – как всю машину заполнил гнилой душок вперемешку с запахом паленого меха, плоти и семян, шкворчавших на раскаленном моторе, и вскоре уже девочки, кашляя и хохоча, высовывали из окон веснушчатые носы.

Они целый час ехали с опущенными стеклами, вдыхая этот запах, ехали через Не-Вэлли, мимо Атола и Кэривуда, а дальше – долгой дорогой почти до самой вершины горы Лёй, где их уже поджидали колотые и сложенные штабелями березовые дрова. Одежда и волосы, [1 - От фр. l’Cil – «глаз». – Здесь и далее примеч. перев.]перчатки Уэйда – все насквозь пропиталось гарью. Энн представляет Джун и Мэй. Они сидят на солнце, пока мама закатывает поленья в кузов, а папа укладывает их рядками. Привалившись к шинам пикапа, девочки бьют слепней, садящихся им на ноги, и поливают землю лимонадом.

Запах был и на обратном пути. Единственная константа. Он соединяет две вещи в сознании Энн, которые иначе никак не соединить, – поездку туда и поездку обратно. Ради этого она сюда и приходит – попытаться осмыслить тот самый обратный путь.

Прежде чем отправиться за помощью, Уэйду нужно было учесть массу мелочей. Чисто практических. Поднять откидной борт кузова, например, чтобы оттуда не выкатились дрова. Не забыть повернуть ручку кверху – без этой хитрости кузов не закроешь – и надавить. Он не забыл, его пальцы сделали все как надо в разгар самого страшного кошмара – и Энн любит его за то, что он такой. Возможно, однажды из его памяти изгладится все, кроме хитрости с кузовом, и Энн будет по-прежнему его любить.

На обратном пути они легко могли потеряться, как потерялись по пути туда. Могло ли хоть что-нибудь выглядеть знакомо? Узкие, поросшие травой дороги. Самодельные дорожные знаки, прибитые к стволам деревьев, – просто невероятно, что часом раньше он их разглядывал. Все в этой истории невероятно. Летнее небо, хруст веток под колесами. Запахи машинного масла и жимолости. Дыхание Дженни на стекле.

Энн пришлось самой все додумывать – все, кроме горстки подробностей, которые она узнала от Уэйда или услышала в новостях. На первых порах она изо всех сил избегала радио и телевизора, чтобы история была известна ей только со слов Уэйда. Что он захочет рассказать, она сохранит. А искать себе не

позволит; не позволит и спрашивать.

Но теперь все изменилось, ведь Уэйд начал забывать. Ей хочется спросить, пока память не оставила его, разговаривали ли они с Дженни. Куда смотрела Дженни – в окно или прямо перед собой? Или, может, на него?

В какой момент он сорвал зеркало заднего вида?

Нет, говорит себе Энн, дело даже не в поездке обратно. А в том, как он вообще смог залезть в машину. Открыть дверцу и сесть за руль. Рядом Дженни со стаканчиком лимонада в трясущейся руке – а может, рука не тряслась, может, она была неподвижна. Может, стаканчик был пуст. Может, лимонад пролился ей на брюки, оставив мокрые пятна, как сейчас на брюках у Энн, безобидный рисунок, какой нарисовала бы девочка на заднем сиденье.

Энн пробегает рукой по приборной панели – на ладони влажная мягкость прошлогодней пыльцы. В салоне пикапа все теперь на прежних местах. Зеркало приклеили обратно и повесили на него «ловец снов» с двумя яркими перышками. Коврик помыли, правое заднее сиденье заменили целиком – на такое же, только более яркого оттенка синего и без дырок с торчащей набивкой, которые девочки наверняка любили ковырять пальцами.

Энн поворачивает ключ зажигания и какое-то время сидит с заведенным мотором. Она дышит глубоко. Девять лет – и запах мышиного гнезда давно выветрился, но по временам, когда она ерзает на сиденье, поднимая облачка пыли, в воздухе чувствуется намек на тот старый запах, далекий и сладковатый, кожа и горелая трава.

Хотя, конечно, возможно, это фермеры выжигают поля в долине – там, далеко внизу.

Энн с Уэйдом женаты уже восемь лет. Ей тридцать восемь, ему пятьдесят.

В прошлом году она нашла на чердаке коробку с его старыми рубашками. Она принесла коробку в спальню и уселась на полу в теплом квадрате света. По очереди она доставала рубашки и, повертев их в руках, одни оставляла, а

другие откладывала для Армии спасения.

Тут в комнату вошел Уэйд.

– А эта тебе мала? – спросила Энн. Она не оборачивалась, потому что раздумывала, как поступить с жирным пятном. Она подняла рубашку в вытянутых руках и поглядела на просвет.

Уэйд ничего не ответил. Она решила, что он не услышал. Сложила рубашку и потянулась за следующей.

Но не успела она опомниться, как Уэйд придавил ее голову ладонью и ткнул лицом в коробку с одеждой. Она была так ошарашена, что поначалу даже рассмеялась. Но он не ослабил хватку. Край коробки впивался ей в горло, и смех превратился в судорожный вздох, а затем в крик. Она слепо махала руками, царапала ему ноги. Молотила кулаками по его ботинкам, лупила по коленкам локтями. А он все твердил каким-то непривычным, но смутно знакомым тоном: «Нет! Нет!» – чуть ли не рыча.

Собаки. Он использовал этот тон, когда дрессировал собак.

Затем он ее отпустил. Шагнул назад. Она подняла голову – медленно, осторожно. Он глубоко вздохнул и потрепал ее по плечу, будто просил прощения, а вернее, – она осознала это, даже сквозь шок, – давал понять, что сам ее прощает. Помолчав немного, он спросил, не видела ли она его рабочих ботинок.

– Нет, – сказала она, уставившись на коробку с рубашками. Она стояла на коленях, дрожа всем телом, и приглаживала наэлектризовавшиеся волосы, снова и снова, будто это что-то могло изменить. Уэйд нашел ботинки, переобулся и вышел во двор. Через пару минут она услышала шум трактора. Уэйд косил васильки на выгоне.

Еще за год до той жуткой выходки Уэйд начал подавать поводы для беспокойства. Звонил клиентам, обвиняя их в том, что они присылают фальшивые чеки, хотя Энн с выпиской из банка в руках доказывала ему

обратное. Шнуровал ботинки, начиная сверху, и завязывал узел внизу. Мог за одну неделю три раза купить в магазине одинаковые плоскогубцы. Однажды швырнул свежую буханку хлеба – теплую, еще не осевшую – в корыто для кур, будто Энн испекла ее специально для них. В другой раз, на исходе января, срубил красивую сосенку и целую милю тащил ее по свежевыпавшему снегу. Увидев Энн во дворе, он с улыбкой указал на срубленное дерево:

– Как думаешь, не слишком высокая?

Рождественское дерево.

– Но, Уэйд… Рождество было месяц назад.

– Как?

– Ты разве не помнишь? – Она в ужасе рассмеялась. – А откуда у тебя, по-твоему, эта куртка?

Но ткнуть ее лицом в коробку с одеждой – это совсем другое; то был единственный раз, когда болезнь проявилась в форме насилия, – насилия настолько ему чуждого, что Энн просто не верилось, что он способен на такое, даже сразу после того, как все произошло.

Но за первым разом последовал и второй. Пару месяцев спустя он прижал ее щекой к холодильнику, к купону, который она туда повесила, на посещение забегаловки «Пэнхэндлер Пайз». Она сопротивлялась, но, как и в первый раз, сделала себе только больнее. Когда Уэйд отпустил ее, она с силой отпихнула его и наорала на него, но он лишь печально смотрел на нее, будто она его разочаровала.

В другой раз, вскоре после этого, Энн набрала ведро шишек и высыпала их на кухонный стол. Она хотела намазать их арахисовой пастой и обвалять в зернышках, а потом развесить на деревьях для вьюрков. Но стоило ей сесть за работу, как на голову легла ладонь и уткнула ее лицом в шишки. На левой щеке осталась россыпь мелких ссадинок.

А однажды ветер распахнул дверь в старую комнату одной из его дочерей. Уэйд подумал, что это Энн. Он прижал ее лбом к двери и твердил: «Нет, нет, нет», пока в страхе и смятении она не пробормотала: «Хорошо».

Она не понимала эти вспышки агрессии, но он ведь и сам их не понимал, поэтому она не знала, как выразить собственный гнев. Как их предотвратить. С каждым новым приступом боль и потрясение притуплялись, и в конце концов она научилась просто их терпеть – а что еще было делать? Она отмечала про себя, что его провоцирует, и старалась никогда больше этого не повторять. Никаких поделок из шишек, никаких купонов в «Пэнхэндлер Пайз», никаких коробок со старой одеждой, ни ногой в комнаты его дочерей. Все просто. Эти запреты превратились в коллекцию, в список, который она пробегала в уме – сначала от боли, а потом из любопытства, будто на периферии ее жизни притаилось какое-то важное открытие, поджидающее, когда она на него набредет. Ночами, пока Уэйд спал, она размышляла об этом, разглядывая дорогие ей черты. Веки – бледные пятна на огрубевшем на солнце лице. Обветренные губы, небритые щеки. Такая глубинная доброта во всем теле – невообразимо, чтобы этот человек совершал то, что он определенно совершал. Припадая губами к его густым волосам, она закрывала глаза.

Уэйд с детства дрессирует собак. Гончих, спасателей, поводырей, помощников для инвалидов войны. Сейчас он воспитывает крапчато-голубых кунхаундов, которых берет щенками, сразу по несколько штук. Он обучает их гнать зверей, которых никогда не стреляет, потому что убийство его не интересует. Его интересуют сами тренировки. А теперь они интересуют и Энн. Она смотрит, как он работает, будто это поможет разобраться в их браке. Когда Уэйд преподает собаке урок, тыча ее носом в кровавые перья растерзанной курицы, а потом в разрытую землю под курятником, Энн видит, что он делает это из любви. Из любви, и огорчения, и чувства долга перед животным, которое обучает ради его же блага, будто оно запомнит ошибки, только если у них будет фактура, и запах, и вкус. Это не совсем наказание – скорее, способ запомнить. Возможно, так же и с ней. Он будто наконец прислушался к своим чувствам, которые всегда подсказывали, что им с Энн мешает языковой барьер, сломать который можно только силой, грубой любовью да парой отрывистых слов. Нет, плохо, нельзя. По крайней мере, он хочет до нее достучаться.

Но иногда, конечно, у нее разрывается сердце.

Однажды по телевизору показывали рекламу кондиционера для белья. Женщина и две девочки снимали одежду с веревки после внезапно разразившейся грозы. Веревка дернулась, повсюду разлетелись брызги. Реклама его огорчила. Почему огорчила и кого винить, он не помнил, но, совсем как в тот раз, с шишками на столе, лицо его омрачилось какой-то особой тревогой. Она коснулась его руки, словно облегчая его муки, словно говоря: «Это все я». Он посмотрел на нее. Она опустилась на колени у телевизора. Он уткнул ее щекой в экран и привычно произнес: «Нет! Нет!»

Теперь она любила его так.

В голову упиралась его грубая ладонь, волосы наэлектризовались, висок покалывало от слабых ударов током. В эту минуту она почувствовала, что наконец-то помогает ему, помогает по-настоящему, будто лишь теперь научилась в полной мере исполнять брачный обет. Она закивала головой, зажатой между его ладонью и экраном (прости, Уэйд, прости), и пообещала, что больше так не будет.

Энн видела две фотографии его младшей дочери, Мэй. Первую – по телевизору. Вторую, полароидную карточку, она вымела из-под холодильника пять лет назад. Снимок весь был в катышках пыли и шерсти и в какой-то липкой корке, которая, если ее поскрести, слезала красными чешуйками, точно засохшее варенье.

На снимке Мэй держала в руках тряпичную куклу, похожую на нее как две капли воды: светлые волосы до подбородка, прямая челка, леденцово-яркие губы. На Мэй был верх от купальника и юбка-шорты, на круглом белом животе – кошачьи царапины. Она сидела на высоком пне посреди поляны, скрестив пухлые ножки в безупречной имитации зрелости, а ее розовые сандалии валялись в грязи.

Мэй не улыбалась, хотя прекрасно знала, что ее снимают. Вместо этого, театрально опустив взгляд, она смотрела на куклу, которую держала чуть на расстоянии, будто готовясь запечатлеть на грязном тряпичном личике пылкий поцелуй. Голова у Мэй была склонена набок, губы приоткрыты, челка совсем чуть-чуть спадала на глаза, лицо обращено к кукле, а не к фотографу, бережным пальцем, точно влюбленная, девочка касалась розовой нитки рта. С виду ей было лет пять или шесть, ее обуревали страсти, и она ощущала себя красавицей.

Именно такой ее представляет Энн, воображая события того августовского дня девять лет назад.

В сцене, которую она рисует себе, Мэй с оскорбленным достоинством отмахивается от слепней, кусающих ее за руки. Она залезла на заднее сиденье пикапа, но слепни прилетели за ней и туда. Мама с папой все еще грузят в кузов дрова. Старшая сестра где-то в лесу. Мэй дуется, припадает губами к мелким следам от укусов на бледной коже, между поцелуями что-то бормоча, будто это чужие губы утешают ее, ласкают, говорят укусам, чтобы исчезли.

Как только слепни садятся, она старается их прихлопнуть. На коже остаются отчетливые следы пальцев. Сначала она пытается поймать слепней в пенопластовый стаканчик для лимонада, но слишком уж их много. Уловив ритм ее движений, они норовят обмануть ее и выбирают места, которые труднее всего достать, – например, поросший пушком затылок, где она их почти не чувствует. Жужжание над головой раздражает не меньше, чем сами укусы. Они в равной опасности: слепни – от злобных детских ручек, Мэй – от маленьких хоботков, от внезапных булавочных уколов, после которых стягивает кожу по всему телу. Эта их игра – рискованная, полная напряженного ожидания – сводит с ума.

Энн представляет, как Мэй застыла с поднятой рукой и ждет, когда на нее сядет доверчивый слепень, чтобы его убить, и тут в голове Энн пропадает сигнал. Как будто она смотрела на солнце, а потом ее веки внезапно смыкаются и перед глазами плавают последние отголоски цвета. Жужжание слепней, топот бегущих ног, вялое квохтанье скучающих ворон в лесу – все утопает в потрескивающей тьме.

Когда разум Энн, подобно глазу, открывается снова, сцена поражает своей умиротворенностью. Мэй застыла в неподвижности на заднем сиденье, с головой на коленях. Теперь, когда их уже никто не шлепает, слепни свободно садятся ей на руки. В волосах у нее теплая, липкая кровь. Жужжание стихло, и слепни – почти ласково, как сонные, уставшие от перепалок дети, – устроились у нее на руках. Некоторые из них не уверены, что игра и правда закончилась, боятся, вдруг это детская уловка, вдруг ее руки, столь неподвижные, оживут и взметнутся в воздух. Эти слепни взлетают снова и бьются в стекла и жужжат, а потом садятся где-нибудь еще. Но в конце концов успокаиваются и они, успокаиваются настолько, что больше уже не кусаются, а просто сидят на ее неподвижных руках, как у себя дома, умывая усики, созерцая мир вокруг

фасеточными глазами, греясь в густом желтом свете, пронизывающем их перепончатые крылья, греясь, пока все так безопасно.

Несколько лет назад Энн случилось допоздна задержаться в городе. Она ездила туда по делам, и у нее сломалась машина. Предупредив Уэйда по телефону, она осталась ждать, пока автомобиль починят.

Возвращаясь по круто забиравшей вверх проселочной дороге, она заприметила дом издалека. Внутри было темно, светились только окна в кабинете Уэйда слева на втором этаже и – вот удивительно – два прямоугольника в нижней части парадной двери. У входа в мастерскую – то была отдельная постройка в другом конце сада – тоже горели два огонька. Энн терялась в догадках. Что за странное сияние? Фонари? Но для чего? И лишь подойдя вплотную, поняла, что прямоугольные огоньки – это отверстия, сквозь которые просачивается зажженный в доме свет.

Какая-то бессмыслица. Вся похолодев, Энн прошла внутрь с покупками в руках. В тусклом свете напольной лампы она увидела, что в стенах, обшитых сосновыми досками, вырезано множество отверстий. Прямоугольники примерно с фут в высоту и с полфута в ширину. С нижней полки стеллажа были убраны книги, на их месте тоже зияли дыры. Одно отверстие располагалось прямо над кухонным шкафчиком, и сквозь него на столешницу лился лунный свет.

У Энн бешено застучало сердце.

– Уэйд?

Через отверстия в дом задувал ветер. На стене, над лампой, сидели пять-шесть мотыльков – самые крупные величиной с ладонь, – смежая и распахивая крылья с узором в виде глаз. По дощатому полу грузно полз гигантский жук, блестящий, как лезвие ножа. Повсюду были опилки, а в них – кошачьи следы.

Включив верхний свет, она увидела, что возле стеклянных раздвижных дверей аккуратными стопками лежат идеально вырезанные кубики утеплителя. Отверстия были и между комнатами. Кое-где вместо дыр просто углубления в стене. Одно отверстие в двери в ванную комнату.

– Уэйд… – Она осеклась. Послышалось мяуканье.

Она обернулась. О ножку стула блаженно терся кот, урча и лениво щуря зеленые глаза. Энн его раньше не видела. Она взяла кота на руки. Его теплая тяжесть успокаивала. Он принялся энергично тереться мордой о ее подбородок.

Не выпуская кота из рук, она поднялась наверх, торопливо прошла мимо двух пустых закрытых комнат – внизу каждой двери по ровному прямоугольнику, – затем открыла дверь в третью комнату и уставилась на Уэйда.

Он сидел на стуле, в куртке, и разглядывал лежавшие на столе голубые и желтые счета. Рядом со счетами на столе стояла печка. Пахло сосновыми дровами.

– А вот и ты, – сказал он, поворачиваясь на стуле и протягивая к ней руку. Между большим и указательным пальцем видны были натертости от пилы. – Устала, наверное, весь вечер ждать машину?

Он ласково усадил ее к себе на колени, прямо с котом в руках. При взгляде на его лицо ей захотелось плакать. В его глазах не было привычного утомления. Уму непостижимо, но он выглядел моложе. Он выглядел как при первой их встрече – он выглядел как муж Дженни.

Уэйд с улыбкой посмотрел на кота.

– Бродяга, – сказал он, качая головой. – Но раньше был домашний. Сидел и мяукал прямо у дверей мастерской, вот я его и впустил. А потом подумал, почему бы не впустить его и в дом?

Он рассмеялся.

Энн провела пальцем по усыпанному опилками рукаву его рубашки – одно движение, но она напряглась всем телом. Опилки были и в волосах.

– Что случилось с домом? – тихо и опасливо спросила она.

Уэйд посмотрел на нее непонимающим взглядом.

– Дыры, – сказала она.

– Это кошачьи дверцы, – пояснил он с ноткой удивления в голосе. – Чтобы он свободно передвигался.

– А, – только и смогла ответить Энн. Кот спрыгнул на пол. Она встала. – Дверцы. – Услышав агрессию в своем голосе, она вдруг осознала, что пришла в ярость. – Ты вырезал кошачьи дверцы, и не один десяток.

Она почувствовала то, что сам он, вероятно, испытывал, когда прижимал ее щекой к телевизору, – боль и отчаяние, глубокие, и безнадежные, и давнишние, в которых – пусть они и не имели отношения к Уэйду – она все равно винила его одного.

Она хотела еще что-то прибавить, но не подобрала слов. Тогда она развернулась, вышла в коридор, миновала две пустые комнаты и спустилась на первый этаж. Уэйд, похоже, не понял, что она расстроилась, и остался в кабинете. Вот и хорошо. Она нашла фонарик. В небе светили звезды, а ветер был необычайно теплым и трепал ее волосы. Собаки кинулись к ней – обнюхать карманы – и, радуясь, что ночью кто-то вышел во двор, потрусили за ней вниз по склону к большому амбару, где теперь хранились старые стройматериалы. Она думала лишь о предстоящей работе. Забравшись по приставной лестнице на второй этаж амбара, она отыскала листы фанеры и сайдинга, валявшиеся там с тех пор, как Уэйд и Дженни построили дом. Она доставала их и сбрасывала вниз. Наверху весь пол был в мышином и голубином помете. Пыль и цветень так и липли к лицу. Она заплакала. Когда внизу скопилось достаточно листов, она спустилась и, все еще всхлипывая, включила циркулярную пилу, наскоро нарезала стопку прямоугольников и погрузила их в тележку.

В темноте она толкала тележку вверх по крутой тропе. Впереди, на возвышении, сиял огнями дом – окна и выпиленные дыры. Такой дом с десятками крошечных, кривых оконец мог бы нарисовать ребенок. Энн запыхалась, но не останавливалась. Из кармана куртки, где лежал фонарик, бил луч света – строго вверх, рассеиваясь в ночи.

Она трудилась больше часа, заколачивая дыры и закладывая утеплитель обратно в пустые ячейки. Отверстия в стенах между комнатами она заделывать не стала. Только те, что вели наружу. Кот вышел и вошел через одно из них,

будто демонстрируя, какие удобные получились двери.

Закончив работу, она убрала инструменты, подмела опилки, приняла душ и легла в постель.

Через некоторое время раздались шаги Уэйда на лестнице. Спускался он медленно, будто что-то для себя уясняя. Дойдя до середины, замер и долго стоял на месте. Она почти слышала, как он проводит пальцем по контурам кошачьей дверцы, словно проверяя, не привиделась ли она ему.

Энн неотрывно смотрела в стену. Когда Уэйд лег рядом и прикоснулся к ней, она сразу почувствовала в его теле перемену. Он снова был собой.

– Я даже не представлял, – сказал он.

Энн не оборачивалась. Едва сдерживая нахлынувшее облегчение, она зажмурилась, чтобы запереть его внутри. И от этого затряслась всем телом. Она снова плакала. Уэйд прижал ее к себе.

– Пожалуйста, прости.

Он тоже заплакал, и тогда она повернулась к нему. Стала гладить его лицо – нежно, снова и снова водя пальцем по щеке и подбородку, будто успокаивая малое дитя.

– Ничего, – сказала она, улыбаясь сквозь слезы.

Они закрыли глаза и долго лежали в обнимку.

Когда ей показалось, что он уснул, она повернулась на другой бок, не выпуская его руку из своей. Он проснулся.

– Можно тебя спросить? – И уже по невинности в его голосе, по наивному убеждению, что есть еще вещи, о которых он не спрашивал, она поняла: какая-то часть его снова исчезла.

– Давай, – сказала она.

– Ты когда-нибудь любила другого?

– Нет, – сказала она. – Нет, конечно.

– А ты с кем-нибудь спала до меня?

Она зажмурилась, в горле встал ком. Когда-то он, разумеется, знал, что у нее были и другие мужчины, но теперь она сказала:

– Нет. – Она сказала: – Только с тобой.

Он облегченно вздохнул.

Она лежала в темноте и дивилась тому, как внезапно пропало и ее прошлое тоже. Все события ее жизни, произошедшие до него, всё, что привело к их встрече, исчезло. Школа. Ее детство. Вся Англия.

Эта пустота была такой легкой, что на мгновение она почти обрадовалась, его ладонь у ее сердца была и началом и концом, историей только о них двоих, начавшейся с того, что они взялись за руки, и этим же закончившейся. Она могла бы какое-то время жить в этом мгновении, если придется.

Возможно, Дженни тоже стерлась из его памяти. Жизнь с ней, с Мэй и Джун, голоса дочерей и запах гари, осевший на их одежде, – все это вытекло из дома через десятки ран, вытекло в ночь, исчезло из истории Уэйда и Энн.

Момент был упущен, но она все равно решила спросить.

– А ты? – Едва слышный шепот.

– Нет, – тихо сказал он. – Только с тобой.

Она повернулась и поцеловала его. И вот так, запросто, они стали друг для друга первой любовью.

Наутро Уэйд увидел, во что превратились дом и мастерская, и его охватило чувство вины. Энн не показывала, как сильно это происшествие повлияло на нее саму. С беззаботным видом она вымела за порог листву и жуков, повесила на кухне клейкую ленту для мух. Мотыльков они поймали в банки и выпустили в саду. Уэйд расставил по всему дому мышеловки и ловушки для пауков. Кот ушел, словно приходил только ради сотни дверей.

В тот год они собирались поехать в Шотландию, в гости к ее отцу, но Энн все отменила. Это ее огорчало, ведь в последнее время отец все больше от нее отдалялся. Их телефонные разговоры были неловкими, отец вечно отшучивался, а иногда передавал трубку своему брату, чтобы тот поговорил с Энн вместо него. Еще ей было обидно, что отец никогда не упоминает о ее письмах, хотя она прекрасно знала, что задушевные беседы не для него. И тогда она пообещала себе, что возьмет в переписке с ним более легкий тон, – возможно, это их сблизит.

Осень на горе Айрис выдалась сказочно красивой – пожалуй, самой красивой за всю ее жизнь. Они с Уэйдом долго гуляли среди меняющейся природы, поеживаясь в одних свитерах и взметая ногами опавшие листья. Они водили с собой коз на привязи и кормили их яблоками с хилых диких яблонь. Козы с трудом жевали твердые плоды. С кожистых губ капала зеленоватая пена.

Память покидала Уэйда незаметно, мелочь за мелочью. Однажды он застелил кровать наоборот – одеяло внизу, простыня сверху. Но удивительнее всего было то, что он вообще ее застелил. Этим всегда занималась Энн, и перемена была приятной.

Как-то раз она нашла свою расческу в морозилке, а по временам поступали звонки от обеспокоенных клиентов, получивших заказ дважды. Но все это, в общем-то, не имело значения – как бывает со многими вещами в жизни, даже с теми, что сделаны правильно.

Она приспособилась к его провалам в памяти. Иногда она все ощущала без слов. Одним солнечным осенним днем, когда он задремал, лежа рядом с ней на траве, она почувствовала, как от его кожи исходит его прежняя жизнь вместе с воспоминаниями. Как его покидает все, кроме нее. Тогда она тоже сбросила свою жизнь, ему под стать. Так они лежали рядом, застывший момент. А потом

на солнце наползло облако, и внутри у него что-то переменилось, и, почувствовав это, она позволила перемениться себе самой. Они вернулись к себе привычным, еще теплые от недавнего забвения.

Но к радости примешивался подспудный страх, что однажды, кроме забвения, у них не останется ничего. Все ассоциации растеряются: запах перчаток, грохот дверцы пикапа. Все подробности, которые она хотела бы знать. Всё будет низведено до основы.

Как-то раз они решили сжечь трухлявую мебель, валявшуюся на лесной поляне в дальнем конце принадлежавшей им земли. Похоже, ее притащили туда какие-то далекие, незнакомые жители горы. Гуляя по лесу, Энн с Уэйдом часто шутки ради искали такие вот потревоженные места, ожидавшие их внимания. «Давай устроим свидание», – со смехом говорила Энн и переодевалась в грязные рваные джинсы с запахом прошлых костров, извлеченные из никому не нужного хлама.

Впрочем, иногда среди хлама попадалось и что-нибудь полезное. Однажды они нашли разбитый пикап, и Уэйд снял с него рессоры. Они были из особого металла, который использовался только в старых моделях, и Уэйд пустил его в дело. Он раскалил металл в горне, а затем молотом придал ему нужную форму.

В тот день они свалили трухлявую мебель в кучу, накидали веток поверх матраса, плеснули дизельного топлива и подожгли. Затем, отойдя подальше, долго смотрели на пылающий, потрескивающий костер. Уэйд обнимал ее за талию. Его прикосновения были наполнены тяжестью, улыбка и даже смех – грустью, а еще осознанием того, что они пришли сюда из другого места, что эта история длиннее их самих.

Ей будет не хватать этого осознания, когда оно исчезнет. Она прижалась к Уэйду, вдыхая запах костра, пропитавший его одежду. Посмотрела на его красивое лицо, обращенное к огню, затем посмотрела на огонь. Воздух над костром подрагивал, как отражения в воде, и казалось, будто горы на горизонте тоже подергиваются в каком-то мареве.

– Вот так вот, – сказала она, сама не зная к чему.

– Вот так вот, – согласился он, покрепче прижимая ее к себе.

Когда Энн переехала в дом на горе, здесь были лошади, а не козы, – аппалузы, за год без Дженни и Джун настолько отбившиеся от рук, что Энн боялась к ним приближаться, даже чтобы вычесать репейник из спутанных грив. Вблизи дома стоял второй амбар, поменьше, где Дженни хранила тюки сена, сложенные штабелями от пола до потолка. Энн с Уэйдом продали лошадей, а вместе с ними и сено, оставив лишь несколько тюков.

Без сена амбар выглядел совершенно иначе – пустым, но полным возможностей. Одно из окон выходило на рощицу. Энн загорелась идеей обустроить там студию, с письменным столом и синтезатором.

Вскоре она уже подметала пол, вздымая вокруг себя клубы пыли. Снимала метлой паутину в углах и старые осиные гнезда. Когда с уборкой было покончено, усталая и довольная, она прилегла на единственный тюк сена в углу, и ее рука скользнула в щель между сеном и стеной.

Там валялась какая-то книжка, раскрытая вверх корешком, с мятыми страницами. Энн нащупала ее кончиками пальцев: большая книга в мягком переплете, разопрелая от плесени и шершавая от пыли.

Она называлась «Рисуем лица». Это было пошаговое руководство по выполнению набросков – от овалов, осей и бессвязных очертаний до готовых портретов, безликих и четко прорисованных, лишние линии стерты, волосы заштрихованы. Книга была для взрослых, ребенку такая кропотливая работа оказалась бы не под силу. В конце, на первой странице для практических заданий, Энн обнаружила неоконченный карандашный набросок женской головы. В правом нижнем углу – подпись.

Дженни.

Энн увидела стертые линии лица. Увидела, как прилежно исполнены все указания. Голова слегка повернута вбок. Нос нарисован вполне уверенно – прямоугольник и круг стерты, – но один глаз остался без штриховки, пустой, застрявший в линиях предыдущего этапа, будто в прицеле ружья, с крестиком поверх зрачка. Зато волосы, спадающие с обеих сторон, выполнены смелыми, четкими штрихами.

Энн захлопнула книжку.

С тех пор амбар был уже не тот. Она старалась этого не замечать. Перенесла туда свои вещи. Стол, синтезатор, даже старый компьютер с программой для создания музыки. Чудесная вышла студия.

Но женщина в углу тоже так считала. Энн чувствовала ее присутствие, как она радуется возможности провести минутку наедине с собой, без мужа и детей, растянуться на сене с книжкой на груди, пальцы ног цепляются за тугую красную бечевку, ладонь лениво заслоняет глаза от света, карандаш заточен. Энн представила, как поблизости похрустывают сеном чубарые лошади. Как жужжат по углам осы, а где-то снаружи, под бельевой веревкой, где солнце крахмалит добела розовые футболки, две девочки наполняют кукольные чашки песком.

Поскольку Уэйд выбросил все – рисунки, одежду, игрушки, – каждая случайная находка обретала в воображении Энн неописуемую важность. Четыре заплесневелые куклы, погребенные в крошеве гнилого пня. Туфелька Барби на высоком каблуке, выпавшая из водостока. Кислотно-яркая зубная щетка в собачьей конуре. И наконец, незаконченный рисунок в книжке. Реликвии, исполненные важности, которой они не заслужили, но все равно получили из-за своей пугающей скудости; они копились ей назло, создавая у нее в голове истории, воспоминания, которые должны были оставаться в голове у Уэйда.

Взять хотя бы кусты малины, которые Энн не сажала. Каждый год они возрождались как заколдованные, возрождались с упрямым упорством, чтобы впиваться ей в рукава, царапать ноги и тянуть к себе. Это Дженни их посадила. Энн лишила их воды, но они выживали и на дождях – ягоды сморщенные, сухие и кислые, сыпучие, как мел. Каждый год они заявляли о себе настырными зелеными побегами среди бурых прошлогодних стеблей. Долгое время она пыталась погубить эти кусты бездействием, но потом, увидев их как-то зимой голыми и беззащитными, взяла мачете и принялась рубить их, поднимая снежную пыль.

Как странно – не знать, что для нее лучше: чтобы в ее жизни было больше его семьи или наоборот. При виде пня с заплесневелыми куклами она расплакалась от любви; при взгляде на чашечки под бельевой веревкой, такие крошечные, что их можно было надеть на пальцы, ее захлестнуло недоумение; сиалия[2 - Голубая сиалия – небольшая певчая птица, символ штата Айдахо. Самцы имеют

ярко-синее оперение, самки – бледно-голубое. Считается, что благодаря своей расцветке птица приносит удачу.], вышитая на кухонном полотенце, – несомненно, работа Дженни – вызвала в ней чувство вины; пустые комнаты не внушили ей ничего, кроме своей пустоты. Однажды, стоя в очереди на почте, она увидела, как маленькая девочка на парковке бьет палкой упавший велосипед. Она рассмеялась. А потом ни с того ни с сего на глаза навернулись слезы.

Она хранила пособие по рисованию целый год, перекладывала с места на место, запихивала то на одну полку, то на другую, чтобы в нем поубавилось значимости, позволяла себе едва заметную небрежность. Затем, сама на себя разозлившись, запечатала в большой коричневый конверт и отправила в женскую исправительную колонию «Сейдж-Хилл». Она не стала указывать обратный адрес. Вместо этого написала: «Пожертвование в тюремную библиотеку». Женщина на почте ничего не сказала, хотя не могла не заметить адреса. Она лишь приклеила марку в угол конверта и бросила его в кипу к другим письмам, проводив ревнивым и покровительственным взглядом.

И вот теперь, этим мартовским днем, Энн остановилась у амбара по дороге к дому. Выхлопные газы осели у нее в волосах. Синие санки нагружены березовыми дровами, которые ей не нужны, но которые она все равно пустит на растопку; камин – повод принести дров, дрова – повод сходить к пикапу. Чем чаще она будет топить камин, тем чаще сможет ходить к пикапу, чтобы пытаться понять.

Заслышав ее шаги, козы в амбаре подают голос. Сложив веревку от саней поверх поленьев, она открывает дверь.

Внутри холодно и пахнет прелью. Козы бегут ей навстречу. Энн треплет их по головам, похлопывает по бокам. Они с наслаждением поеживаются. Она весело разговаривает с ними, хотя присутствие Дженни ощущается не меньше прежнего. Она смотрит в окно на сосновую рощу, где только что проходила, и чувствует вдруг присутствие не только Дженни, но и той жизни, которой чудом избежала. Жизни без Уэйда.

Разбивая палкой ледяную корочку на корыте с водой, она пытается осознать простой факт: Я здесь, потому что тебя здесь нет.

Козы расшумелись; она дает им сена.

– Тебя здесь нет, – тихо обращается она к присутствию в амбаре. – Тебя здесь нет.

Но в заверении и кроется признание. В заверении и кроется боль.

Она поспешно выходит, закрывает дверь, везет санки дальше по уходящей вниз тропе.

Подойдя к дому, она замечает в саду Уэйда. Он ползает на четвереньках среди снега и грязи, распутывая проволоку, по которой будет виться горох. Она наблюдает за ним, стоя на полоске блеклой травы между домом и садом.

– Я люблю тебя, – говорит она.

Он удивленно поднимает голову, лицо усталое и невинное, в синих глазах читается радость.

Энн выросла на южном побережье Англии, в городе Пул. Но родилась она здесь, в Айдахо, – правда, не в Пондеросе, а в шахтерском городке Келлог, расположенном на Айдахском выступе, в Силвер-Вэлли.

Она совершенно не помнит трех первых лет своей жизни, проведенных в Айдахо. Когда ей было девять и мать упомянула о переезде из Америки, Энн даже не поняла, о чем речь. Путешествие через Атлантику начисто выветрилось у нее из головы. Почему-то единственное, что родители смогли рассказать ей про Айдахо, – это что отец работал на руднике «Саншайн» и уволился за три года до знаменитого пожара.

После этого стоило Энн закрыть глаза, и Айдахо становился не местом, а ощущением, отдельным от Америки, без границ и без прошлого, за исключением прошлого, принадлежащего ей самой, – серебряного рудника. Сотня миль подземных туннелей на глубине одной мили. Ей не верилось, что она произошла из такого места. Всякий раз, когда она думала об Айдахо, ей казалось, что те три позабытых года покоятся где-то в недрах ее души, лишая покоя все

последующие чудесные годы. Айдахо был рудником, а Англия – нетвердой поверхностью ее жизни.

Вот она и вернулась. Ей было двадцать восемь. Несколько лет тому назад у нее умерла мать, а чуть позже отец переехал к своему брату в Шотландию. Тогда и сама она покинула Англию. Устроилась педагогом по вокалу в небольшую школу в городке Хейден-Лейк, что на севере Айдахо, примерно в часе езды от тех мест, где она родилась.

Школа располагалась на берегу озера, на двух акрах лесистой, необлагороженной земли, куда упиралась недавно заасфальтированная дорога. Это была чартерная школа с гуманитарным профилем. Ученики – около двухсот человек от шести до восемнадцати лет – сразу показались Энн очень милыми и приверженными не только учебе, но и друг другу. Хотя этнического разнообразия в школе не было, в программе уделялось особое внимание изучению других культур. Энн никак не могла определиться, странно это или естественно – встретить такую непреклонную широту взглядов в провинциальной школе по соседству со штаб-квартирой группировки «Арийские нации», в те дни еще проводившей ежегодный всемирный конгресс и участвовавшей в параде на День независимости. Энн каждый день проезжала поворот на длинную грунтовую дорогу, ведущую к их базе в лесу, и всякий раз ее охватывало[3 - Чартерные школы США – независимые школы с государственным финансированием, где деятельность регламентируется специальным договором («хартией»), часто с каким-либо уклоном или альтернативным подходом к обучению.] недоумение вперемешку с отвращением от того, что такое возможно.

Кабинет музыки находился в передвижном павильоне в стороне от остальной школы. В открытое окно слышен был плеск волн с озера, а иногда – шум бензопилы, проносившийся над водой. Озеро было за пределами школьной территории, но ученики любили спускаться к нему после уроков и ждать приезда родителей на берегу. Однажды вечером, в первый год работы школы, за год до того, как туда устроилась Энн, один мальчик, искавший свой рюкзак, взошел на старый причал в камышах, наполовину затопленный водой, и под ним проломились доски. Правой ногой он провалился в дыру. В кожу вонзились острые обломки. Сваи, некогда поддерживавшие причал, пропороли мышцы. Никто не слышал, как он зовет на помощь, а родители не искали его, полагая, что он остался ночевать у друга. Ночь была ветреная, и наутро, когда его

обнаружил уборщик, он лежал без сознания, все еще одной ногой в дыре. Врачам пришлось ампутировать ногу до самого бедра, иначе он бы не выжил.

Его звали Элиот. Когда он записался к ней на хор, ему было шестнадцать. Энн отчетливо помнит, что чувствовала, когда он стоял у нее за спиной и пел под ее аккомпанемент. Что такой голос исходит от подростка, от беспечного клоуна, было невообразимо. Нелепое подозрение, что он жульничает, скрывалось за ее чрезмерной похвалой. При виде его непринужденности она лишалась своей. Особое внимание, какое она уделяла ему, индивидуальные репетиции после уроков, крупные сольные партии на концертах – все это он принимал как должное, без тени смущения и благодарности. У него были большие карие глаза и непослушные волосы, а за ухом он носил карандаш, которым никогда не пользовался. То, как Элиот опирался на костыль, разговаривая с ней, – пустая штанина цвета хаки свободно подколота у бедра – придавало ему столько уверенного спокойствия, что Энн бессознательно пыталась опереться на что-нибудь вместе с ним, нащупывая в воздухе несуществующую стену или парту, словно из них двоих именно она была неуклюжей из-за своей лишней ноги. Когда они беседовали в конце индивидуальных занятий – с пением было покончено, и он рассказывал ей про другие события в своей жизни, – она была так обескураживающе счастлива находиться с ним рядом, что ее саму словно подкашивало, не хватало только костыля.

Ей тогда не приходило в голову, что она испытывает к нему иные чувства, чем к другим ученикам. Небольшая группа мальчиков и девочек часто задерживалась после занятий – поболтать с ней, подурачиться с фортепиано, полистать ее песенники. Она любила их всех и вела себя с ними как старшая сестра, но рано или поздно ей всегда приходилось отправлять их домой, потому что Элиоту надо было заниматься. Когда они оставались вдвоем, когда он склонялся над ней, не прекращая петь, чтобы перевернуть страничку, и она чувствовала у себя на шее его теплое, сладкое дыхание, – именно в такие моменты она особенно остро ощущала страх перед их ежедневным расставанием.

Съемная квартира ей не нравилась, а дружелюбие соседок порой граничило с назойливостью, поэтому она все больше времени проводила в своем передвижном кабинете с небольшим подиумом, старым фортепиано, письменным столом, зеленым диваном под окном и плакатами на стенах, которые повесила предыдущая учительница. Она проводила в кабинете столько времени, что он стал для нее почти что родным домом, а съемная квартира – местом, куда она лишь наведывалась. Часто она ночевала на зеленом диване,

под открытым окном, и ночные звуки школы и озера, неведомые никому другому, даже уборщику, окутывали ее и уносили в сон. Вставала она рано, мылась в душевой для учителей, причесывалась и чистила зубы у себя за столом, и там же, в ящике, у нее хранилась чистая одежда. Приходившие каждый день ученики виделись ей скорее гостями, а вещи, которые они трогали, – ее вещами. Она замечала, в каком месте плечо Элиота касалось двери, когда он придерживал ее для того, кто входил за ним следом. Она не стирала месиво отпечатков на стекле, оставшееся после того, как Элиот открыл окно и крикнул что-то другому мальчику на парковке. Она не говорила ему, чтобы перестал ковырять дырку в зеленой подушке, на которой – он и представить себе такого не мог – еще ночью спала его молодая учительница.

Черные полумесяцы от его костыля на ступенях подиума казались ей трогательными, следы его жизни на ее. Когда он уходил домой и она оставалась с этими царапинами одна, в разлуке с ним она чувствовала опустошение, какое ожидала найти в здешней природе, но так и не нашла. Простор, сбивающий с толку, даже слегка оскорбительный. Между тем мальчик был равнодушнее камня. Была какая-то холодность в его незыблемой невозмутимости, в его постоянном и безличном довольстве.

Она немного цеплялась за это одиночество. По выходным ловила себя на мысли, что соскучилась по своему кабинету. И даже когда она туда возвращалась, чудесные пейзажи за окном вызывали у нее легкую тошноту: перистый иней на траве зимой, а много месяцев спустя – цветущие лилии на воде, мутные сквозь заляпанное стекло.

После одного их занятия, когда отец Элиота задерживался, Энн вызвалась его подвезти. Он жил примерно в четверти часа езды от школы.

– Учителя не водят машину, – сказал он, с отвращением закатывая глаза от такой ее неосведомленности о своем биологическом виде. Он всегда так шутил, а она в ответ могла только смеяться. Снова и снова: «Учителя не простужаются»; «Учителя не пьют»; «Учителя не едят». Снова и снова Энн смеялась.

Почти всю дорогу они ехали молча. Он недоверчиво косился на нее со своего сиденья, стекло опущено, ветер ерошит волосы. Она ожидала, что он отпустит какую-нибудь безобидную колкость, но он ничего не сказал. Молчание было для него необычно. А еще более необычно – то, как он смотрел на нее, выбравшись из машины. Он стоял на тротуаре, слегка наклонившись, чтобы видеть ее за

рулем. «Спасибо», – сказал он наконец, затем с улыбкой покачал головой, будто чему-то невероятному.

На следующий день младший брат Элиота пришел в школу пораньше и переложил все содержимое его шкафчика в большой пакет, включая протез, который Элиот никогда не носил.

Директор сообщил Энн, что Элиота забрали из школы. Его родители развелись, и он переехал с матерью в Орегон. Брат Элиота, добавил директор, останется здесь, с отцом.

– Но учебный год в самом разгаре, – сказала Энн, думая, что мальчика забрали против его желания. – Как он будет наверстывать программу?

Он и так отставал почти по всем предметам, сказал директор, поэтому смена школы погоды не сделает. Он сам так захотел. Родители оставили выбор за мальчиками.

Она не знала, как работать после такой утраты. В то утро она была раздражительна с учениками, а на перемене уронила лицо в ладони и попыталась заплакать. Больше всего ее поражало, как жестоко он обошелся именно с ней, посетив в последний день перед отъездом репетицию концерта, в котором даже не собирался участвовать. Энн не могла принять это, не могла поверить.

После уроков она бродила по пустой школе, подумывая заглянуть в его шкафчик. Вдруг там что-то осталось – хотя бы картинки на дверце. Она помнила, какой у него шкафчик, потому что не раз видела, как он болтает с друзьями у распахнутой дверцы, выставляя напоказ свой сказочный бардак. Среди учебников и хаоса листков выглядывал протез ноги.

Но когда Энн зашла в вестибюль, у его шкафчика стояла девочка, одна. В руках у нее была коробочка в оберточной бумаге.

Девочка не видела Энн. Она была совсем маленькой, лет восьми или девяти. Старшие и младшие ученики почти не пересекались, и девочка, вероятно, еще не успела заметить, что Элиота нет. У нее были короткие темные волосы, лоб закрывала челка. Она уже сменила школьную юбку на джинсовые шорты и

белые колготки с зелеными от травы коленками. На ней был поношенный розовый свитер и выцветшие розовые туфли. Она прикрыла дверцу шкафчика, чтобы проверить номер. Застыла на месте, гадая, что все это означает. Посмотрела на бережно упакованный подарок, который сжимала в руках, затем на шкафчик. А потом вдруг, словно испугавшись, что ее засекут, быстро положила подарок в шкафчик, захлопнула зеленую металлическую дверцу и убежала.

Немного подождав, Энн подошла к шкафчику и открыла дверцу. Взяла подарок – прямоугольную коробочку в розовой оберточной бумаге. Она предположила, что внутри ручка или часы. К подарку прилагалась открытка: «С Днем Рождения, Дорогой Элиот! С Любовью И От Всего Сердца, Джун Митчелл».

Энн была очень тронута. Она ощутила прилив сочувствия и нежности. У себя в кабинете она бережно развернула оберточную бумагу.

В коробке был нож. Блестящее лезвие около шести дюймов в длину. Энн ахнула: такой опасный предмет – и так любовно завернут, и вдобавок еще невероятно красивый. На костяной рукояти был выгравирован деревенский дом, а по обеим сторонам от него – по цветку розы с сердцем посередине. Нож лежал на кожаном чехле, украшенном самоцветами. Она взяла его в руки. Он оказался таким острым, что стоило дотронуться до лезвия, как она тут же поранилась. Маленький, почти незаметный порез, никакой боли и всего одна капля крови.

Как же быть? Зная, что внутри, она уже не могла вернуть коробку в шкафчик. Но и не хотела, чтобы у девочки были неприятности в школе. В конце концов она убрала нож в ящик стола.

Через два дня она посмотрела контактные данные Джун Митчелл и позвонила ее родителям. Автоответчик отозвался хриплым мужским голосом. Она оставила сообщение, но про нож не упомянула. Просто попросила кого-нибудь из родителей Джун заглянуть к ней в кабинет, чтобы обсудить поведение их дочери. Не упомянула она и про то, что ведет хор и с Джун лично не знакома. Назвала только номер своего кабинета.

Три дня спустя отец девочки вежливо постучал в дверь, хотя она и так была распахнута, чтобы впустить солнечный свет. Когда Энн подняла голову, он снял бейсболку, словно в знак уважения – к ней или, может быть, к школе. Его волосы

беззащитно торчали в разные стороны, он постоянно щурился. Вытерев ноги о коврик, он переступил порог.

– Меня вызвали по поводу ножа? – спросил он.

Энн встала.

– Я не знала, в курсе ли вы…

– Я заметил, что он пропал, и сразу подумал на Джун. Мы ее уже наказали. Она бы не стала никому угрожать или еще что. Она очень нежный ребенок.

– Не сомневаюсь.

– Вы у нее что-то ведете?

– Нет, я просто нашла нож. А вообще я учитель музыки.

– Вы, кажется, англичанка?

– Да.

– Здоровский акцент, – сказал он, и она рассмеялась над тем, какой неловкий вышел комплимент. Он, похоже, не заметил. Его взгляд скользнул по комнате и остановился на фортепиано. – Жалко будет, если ее отстранят от занятий, – продолжил он. – Ей сейчас лучше всего быть в школе. Не знаю, что мы будем делать, если придется ее забрать. – Все это он сказал, не встречаясь с ней взглядом.

– Я ничего такого и не имела в виду. Главное, чтобы она понимала, что так нельзя.

Он кивнул.

– Мы ей объяснили. Простите ее. – Он посмотрел на Энн. Казалось, он ждал, что она еще что-нибудь скажет по поводу Джун. Она стояла спиной к столу, почти

сидела на нем, опираясь на ладони. – Вообще, этот нож я изготовил в подарок жене.

– Вы его сами сделали? – с неприкрытым удивлением спросила Энн.

Он тихо рассмеялся.

– А что, вам понравилось?

– Чудесная работа.

– Ну тогда, может, не так уж и плохо, что она его сюда притащила. Может, она решила сделать мне рекламу. (Энн улыбнулась.) Да, кстати, а можно мне его забрать?

Однако нож теперь лежал у нее в куртке, и доставать его было сродни признанию. Поэтому она принялась шарить в ящиках, делая вид, что не помнит, куда его положила.

Он ждал. В конце концов она достала нож из кармана куртки и, пожав плечами, протянула ему. Он улыбнулся. Затем вынул нож из чехла и стал разглядывать на свету.

– Нам пришлось забрать Джун из обычной школы, – сказал он. – А тут как раз открылось это место. Такое везение. Не знаю, что мы будем делать, если она и впрямь взялась за старое.

– Она уже это делала? Я думала…

– Если она снова влюбилась, я вот про что. У нее это серьезно. Вечно с разбитым сердцем. И каждый раз так страдает, будто это любовь всей ее жизни. Смотреть больно. Мы правда не знаем, как быть. Она и раньше таскала из дома вещи, чтобы дарить мальчишкам, но такое впервые. И всегда выбирает кого постарше. – Энн ничего не ответила. Тогда он кивнул на фортепиано: – У меня дочка играет.

– Тогда пусть запишется в хор. Она бы нам пригодилась.

Он провел по боковой стороне клинка ладонью.

– Не Джун. Наша младшая, Мэй. Она у нас пока в обычной школе. Джун достался балет. – Он убрал нож в чехол и потер пальцем цветной камушек, как бы полируя его. – А вы даете частные уроки? Или у вас только группы?

– Пока только группы, но вообще да. Я здесь недавно.

– И сколько берете за урок? – спросил он, подслеповато прищурившись. Светившее в открытую дверь солнце полоской лежало между ними, у их ног.

– Вокал или фортепиано?

– Фортепиано.

– Ну, если она согласна будет аккомпанировать хору, когда подучится, я могу заниматься с ней бесплатно. Я всегда здесь после уроков.

Он кивнул.

– Я, вообще, для себя спрашивал.

– А-а.

– Я слышал, проводили исследования. Это вроде полезно для мозга.

Она рассмеялась.

– А с вашим что-то не так?

Он серьезно посмотрел на нее, и она пожалела, что спросила, пусть даже в шутку.

– Пока не знаю, – сказал он. – Это наследственное. Я так, просто прицениваюсь, – быстро добавил он. – Рассматриваю варианты.

– Ну, скажем, двадцать долларов за одно занятие в неделю.

Он подошел к фортепиано и положил ладонь на крышку, затем постучал по ней, будто проверяя качество древесины.

– Хорошо, – сказал он, подумав. – Вполне разумно.

Она долго сверялась с ежедневником и наконец сообщила ему, когда свободна.

Он положил нож в карман. Он пожал ей руку.

Поначалу он страшно стеснялся – и самих уроков, и заниматься по учебникам для начинающих с детскими обложками. Однако к занятиям относился по-деловому и, когда она рассказывала про посадку за фортепиано и постановку рук, будто в каждой зажато по бейсбольному мячу, внимательно ее слушал. Она так и видела, как он представляет мяч у себя в ладони всякий раз, когда садится за инструмент. Он извинялся за ошибки и очень старался. Было заметно, что дома он подписывает в учебниках названия нот и перед каждым занятием стирает. Она давала ему простые мелодии, которые можно играть одной рукой, а свободной рукой просила отбивать ритм на коленке. У него не было таланта. Между песнями он массировал кисти, как после тяжкого труда. С нежностью и недоумением она наблюдала, как его большие, неуклюжие руки, все в шрамах и мозолях, наигрывают мотивы вроде «Моей дорогой Клементины».

Музыка, похоже, не доставляла ему особого удовольствия. Он играл с видом человека за работой, словно пытался погрузить мелодии себе в голову, как дрова в сарай. Запастись ими на зиму.

Тогда она решила найти что-нибудь, что придется ему по душе. Пролистывая как-то вечером привезенные из Англии сборники, она нашла пару альбомов с народной музыкой, которая была простой в исполнении и подходила для взрослых. Один из них она выписала, еще когда сама училась в школе, потому что там была песня, сочиненная кем-то из Айдахо.

Когда он разучивал ее, Энн начала петь. Он так опешил, что перестал играть.

– Если вам мешает, я не буду, – сказала она.

– Нет, – ответил он очень серьезно. – Давайте еще попробуем.

Но у него никак не получалось. Они пробовали снова и снова, пока она со смехом не шлепнула его по рукам: «Вставайте». Затем села за инструмент и сыграла сама.

Эту песню он разучивал с удвоенным усердием. Вскоре он уже мог аккомпанировать ей правой рукой. Она пела медленно, но с радостью, хотя песня была грустной.

Сними портрет свой со стены,

Возьми его с собой.

И первый промельк седины

Закрась осеннею листвой.

А обо мне ты не горюй,

Я справлюсь как-нибудь.

Лишь на прощанье поцелуй

И, отвернувшись, позабудь.

Про каждую ошибку он говорил, что дома у него все получалось правильно, – совсем как ее ученики в Англии, когда не готовились. Ей хотелось смеяться, но он подходил к урокам так серьезно, что она себя сдерживала.

До и после занятия они всегда перекидывались парой слов, но личный вопрос она задала ему лишь однажды: о том, что он имел в виду, говоря «это наследственное».

Он рассказал, что после пятидесяти его отец начал терять память – из-за ранней деменции. Когда отцу было всего пятьдесят пять, как-то ночью он вышел из дома и стал бродить по окрестностям, а потом забыл дорогу назад. Он замерз насмерть в миле от своего крыльца.

– С дедом та же история, – сказал мистер Митчелл – так она его называла. – Только там было не обморожение.

Он приходил раз в неделю несколько месяцев подряд. Потом учебный год закончился, но он продолжал приходить и летом. Одно утро в неделю она вела летний хоровой кружок, по тем же дням приходил и он, после детей. В жару дверь и окно были открыты нараспашку, но его пальцы все равно оставляли на клавишах темные мазки, которые она потом вытирала смоченной в уксусе белой тряпкой. Если после урока он собирался доставить клиенту нож или съездить на ярмарку ремесел, он звал ее выйти посмотреть на его работы. На улице, у машины, ему было заметно уютнее. Ему нравилось, как внимательно она разглядывает каждую деталь: заклепки из меди и латуни, идеально подогнанные к рукояти, тонкие, безупречные клинки с превосходно отполированными гранями. У каждой модели было свое название: «Оседж-боу», «Клифф», «Нессмук». Эти ножи не были похожи на тот, что украла Джун, брутальнее, но и в чем-то красивее, они предназначались для свежевания. Никаких тебе домиков с розами, никаких самоцветов на чехлах. Эти штрихи он добавил для жены. Рукояти ножей были сделаны из оленьих рогов, или мамонтовых бивней, или железного дерева. Единственным декоративным элементом, не считая заклепок, была гравировка в верхней части клинка. Буква «М» в виде двух горных вершин – его инициал.

Иногда она расспрашивала его про материалы. Он рассказал, что хранит в морозилке хвосты броненосцев, которые идут на рукоятки. Он пропекает их в духовке, постукивает по ним молотком, чтобы раздробить косточки, затем специальным инструментом вычищает мясо и осколки, оставляя один панцирь.

– Хотите верьте, хотите нет, – сказал он однажды, показывая ей отделку на рукояти ножа, – это бакулюм[4 - Кость в соединительной ткани полового члена.] кита.

– Что?

Он рассмеялся.

– Неважно. Скажу только, штука недешевая.

Как-то раз, в августе того года, она сидела в гостиной, а ее соседки играли в карты на кухне. Она читала, звук на телевизоре был выключен. Подняв голову, она увидела на экране фотографию семьи. Мать, отец и две дочери. Улыбающаяся мать наклонилась над одной из девочек, прижавшись щекой к ее щеке. Длинные темные волосы матери спадали светленькой девочке на плечо. Другая девочка, что постарше, с прямыми каштановыми волосами, стояла чуть поодаль с таким видом, будто не ожидала, что уже пора фотографироваться, и не успела сделать подходящее лицо.

Отец прислонился к забору – судя по сверкающим зеленым браслетам на запястьях девочек и чертову колесу на заднем плане, фото было сделано где-то на ярмарке или в парке аттракционов, – и это был Уэйд Митчелл.

В женской исправительной колонии «Сейдж-Хилл» на юго-западе Айдахо есть небольшая библиотека, собранная из пожертвованных книг. Библиотекаршу зовут Клэр. За последние шесть лет Энн разговаривала с ней по телефону пять раз. Голос Клэр подобен ее имени, а имя подобно лезвию ножа – острое, веское и блестящее.

После пикапа устоять перед соблазном позвонить в библиотеку обычно труднее всего. Два ее секрета – пикап и эти звонки – так тесно связаны между собой, что стоит ей устроиться у камина, затопленного поленьями из дровника, и телефон привычно манит ее к себе.

Нет. Какой в этом прок?

Нельзя звонить слишком часто, иначе она привлечет к себе внимание. Хотя, возможно, Клэр уже обо всем забыла. Стряхнув опилки с брюк, Энн идет в спальню и закрывает за собой дверь. Снимает телефон с прикроватного столика, садится на пол спиной к кровати и подносит к уху трубку. Добавочный номер библиотеки она знает. Вскоре на том конце провода звучит голос Клэр. Откашлявшись, Энн обращается к ней, стараясь замаскировать остатки акцента:

– Да, здравствуйте, я хотела бы узнать, пользуется ли спросом одна книга.

– Сведения о выдаче книг конфиденциальны, – говорит Клэр.

Энн перекладывает трубку в другую руку. Все это она уже проходила.

– Да-да, конечно. Меня не интересуют конкретные заключенные. Я думала послать вам еще книгу. Я так понимаю, у вас нет электронной картотеки, но, может, вы заглянете в ту книжку и скажете мне – так, в общих чертах, – пригодилась бы вторая такая или нет?

– Вы, случайно, не звонили сюда раньше?

– Нет, а что?

Клэр вздыхает.

– Назовите автора и заглавие. Я проверю на полке. Но у меня тут уже очередь. Можете подождать?

– Да, конечно. Фамилия автора Джейкобс. – Она делает паузу, надеясь, что Клэр ничего не помнит. – Книга называется «Рисуем лица».

– Хорошо, подождите, пожалуйста.

Энн делает глубокий вдох, слегка меняет позу.

Вот уже шесть лет пособие, которое она нашла в амбаре, покоится на полке в тюремной библиотеке, не тронутое никем. Каждый раз, когда она звонит туда с подобными наводящими вопросами, выясняется, что формуляр пуст. Ни единой фамилии. Почему в месте, где так мало развлечений, никто ни разу не пытался научиться рисовать? Неужели заключенные не видят эту книжку, пробегая пальцами по корешкам?

Но секрет кроется не в книжке. Он кроется в неоконченном рисунке Дженни на страницах для практических заданий. Когда Дженни найдет его, им обеим придется – наконец-то, спустя столько лет – признать существующую между ними связь, и чем чаще Уэйда подводит память, тем больше Энн в этом нуждается.

Она, конечно, знает, что при желании могла бы сама связаться с Дженни. Могла бы написать письмо. Могла бы ее навестить. Но такая прямота просто немыслима. Ей хочется, чтобы Дженни встретилась с ней на полпути. Чтобы они нашли друг друга как чужие люди с общими целями.

В закатном свете, прижимая к уху нагретую трубку и пытаясь расслышать слова заключенной на том конце линии, Энн разглядывает свои ноги в ботинках и розоватое пятно на ковре.

Она никогда не думала об этом пятне. Но почему-то именно сейчас, на полу, с трубкой в руке, она ощущает невероятную уверенность: это лекарство. Сироп от кашля. Капнул с ложки, которую женщина протягивала темноволосой девочке.

Присутствие Дженни, почти осязаемое, обрушивается на нее так внезапно, что кружится голова. Подобные моменты никогда не кажутся ей фантазиями (хотя понятно, что они не могут быть ничем иным), для нее это скорее воспоминания, накатывающие с такой быстротой и силой, что их легко принять за свои. Энн позволяет им уносить себя. Всегда. Разве могут они быть ненастоящими: утро среды, шум телевизора в соседней комнате и шорох хлопьев, сыплющихся в миску, маленькая девочка, Джун, вялая и капризная из-за температуры, твердит, что ей обязательно надо в школу, что оставаться дома никак нельзя…

Т-ш-ш, на, глотай, Жужука. Потом обратно в постель.

Но девочка мотает головой. Мальчик, которого она любит, будет ждать ее у школы, и если сегодня она не придет, вдруг тогда он полюбит кого-нибудь другого, Беки К. или Эми Р., а еще она нарисовала рисунок – специально для него…

Отдашь ему завтра. Глотай.

Энн почти видит перед собой этот рисунок для возлюбленного, мягкие карандашные линии и белые кошки…

– Алло. – Клэр.

– Да? – говорит Энн.

– Я нашла вашу книгу.

– И?

– Ее брали в прошлом месяце – и все. Один человек.

– Кто? – не удержавшись, спрашивает Энн.

– Я же вам сказала, фамилии не разглашаются. Я могу вам еще чем-нибудь помочь?

Энн закрывает глаза. Прижимает руку к сердцу, будто хочет его утихомирить.

– А там в конце ничего не нарисовано? В разделе для практики?

– А должно быть? – Но Энн уже слышит шуршание страниц в руках Клэр. – Нет, – говорит Клэр. – Ничего. Пустые листы.

После того как Энн увидела фотографию Уэйда по телевизору, он не появлялся полгода. В последний раз они виделись в начале августа, всего за пару дней до несчастного случая. Несчастного случая? Иногда она ловит себя на том, что в мыслях использует именно это слово. Уж слишком трудно поверить, что это было убийство.

За полгода ее жизнь могла перемениться. Она могла уволиться, влюбиться, переехать в другой штат, а то и в другую страну, и о том, что с ним стало, не ведать ни сном ни духом, разве что изредка вспоминать о нем с той отчужденностью, с какой вспоминают о случайном знакомом, связанном с трагедией.

Но она никуда не уехала. Она была все там же, в кабинете музыки, теперь уже у замерзшего озера, и слушала по вечерам далекие возгласы рыбаков. Она ксерокопировала ноты и читала за столом романы и порой над ними же могла и заснуть.

Она по-прежнему сбрызгивала уксусом клавиши и протирала их белой тряпкой, но когда в новостях звучало его имя, на нее накатывала меланхолия, вымывая из нее все, кроме странного чувства, что эта история как-то связана с ее жизнью – предназначенная ей загадка.

А потом, как-то вечером, в середине февраля, в дверь постучали. На улице сыпал снег, и ветер лихо крутил его в свете одинокого фонаря на парковке. Стоя в полумраке кабинета и щурясь на холодном ветру, она разглядела только, что на пороге перед ней стоит бородатый мужчина в зимней куртке. Он стащил одну из своих громадных перчаток и потянулся, чтобы снять шапку.

– Уэйд. – Она впервые назвала его по имени.

Стоя на морозе, он сказал:

– Я хотел бы возобновить наши уроки, если можно.

Они не упоминали о его немыслимой утрате. Три месяца, один-два раза в неделю, он приходил к ней со своими пестрыми книжками. Он забыл почти все, чему она его учила, но это было неважно. Они начали заново. Разговаривали только об уроках, иногда еще о песнях, которые она разучивала с хором, или о его ножах. Держался он как раньше: весь такой ответственный и официальный, извиняющийся и серьезный. Они не касались ни Дженни, ни Джун, ни Мэй, ни пожизненного срока, который получила Дженни после признания вины. Дома, когда соседки включали телевизор, Энн слышала его голос, полный отчаяния и все же налитый терпением, его краткий призыв о помощи в поисках пропавшей дочери. В новостях всегда крутили одни и те же несколько секунд, снова и снова, даже через полгода после гибели Мэй и исчезновения Джун.

Что делал Уэйд, когда не было уроков? Пытаться представить было как-то вульгарно, все равно что вторгаться в его душу. Сам он ничего не выдавал, даже случайным взглядом. Оба вели себя так, будто все время, что его не было, Энн просидела у себя в кабинете, без телевизора, и в глаза не видела того снимка с ярмарки.

Но она его видела, и не раз. Снимок показывали чаще, чем обращение Уэйда. Когда он появлялся на экране – сначала вся семья, потом крупный план Джун Митчелл, пропавшей дочери, – Энн старалась отвернуться. Странно было

смотреть на эту девочку, захваченную внутри мгновения, на эту девочку, которую она не так давно видела у шкафчиков. Что может быть сокровеннее, чем фотография его семьи – какой она была прежде, во всем ее неприкрытом счастье? Энн гадала, кто дал журналистам этот снимок. Порой, когда Уэйд играл на фортепиано, ей хотелось накрыть его руку ладонью и сказать: «Я всегда отворачиваюсь», будто это чего-то стоило.

Но они друг к другу не прикасались. Она дала ему пару новых песен, но в основном он заново разучивал старые. Когда она впервые после его возвращения запела, он был так поражен, будто ему не верилось, что такие вещи еще случаются. Он тогда играл детскую песенку «Символы земли». В книжке были слова для каждого штата. Энн пела про Айдахо.

Штат картофельных полей,

Аппалузских лошадей.

Сосны белые растут,

Филадельфусы в Айдахо цветут…

После этого Уэйд спросил:

– А помните ту песню, которую вы раньше пели? «Сними портрет свой со стены».

– Да, – сказала она, затем осторожно прибавила: – Но она очень грустная.

– Она у вас еще есть?

Альбом нашелся в нижнем ящике стола. Энн раскрыла его на нужной странице, разгладила на коленке и поставила на пюпитр.

– Посмотрим, сколько вы помните.

Эту песню он помнил лучше остальных. Он начал играть, потом остановился:

– Вы разве не будете петь?

– Ну хорошо.

И она запела.

Однажды весной, после занятия, когда Уэйд уже собирался уходить, Энн заметила, что он вертит в руках какой-то предмет, пристально его разглядывая.

– Хм, – произнес он.

– Что такое?

– Да вот пытаюсь вспомнить, откуда у меня в кармане эта штуковина.

В руках у него была солонка.

– О…

Он взглянул на нее с некоторым удивлением. Затем рассмеялся.

– Похоже, я собрался заводить ей машину.

– Вы потеряли ключи?

– В кармане их нет. Там была только солонка.

– Но как-то же вы сюда приехали. Значит, где-то они есть.

– Ну, в куртке их нет.

– Точно?

– Точно.

Повисла пауза. Затем, подпустив в голос серьезности, она кивнула на солонку и произнесла:

– Похоже, придется обойтись солью.

Он хохотнул:

– Да, похоже.

– Попробуем?

Он улыбался. Она деловито набросила шарф и вышла на улицу. Когда они подошли к машине, Уэйд достал из кармана солонку и постучал по ручке дверцы. Затем с улыбкой покачал головой:

– Не выходит.

– Дайте-ка я попробую, – сказала Энн. Она взяла солонку и потрясла ей над машиной. Скатившись по дверце, соль посыпалась на асфальт. Она подергала ручку.

– Я не вижу большой разницы между солью и ключами. Наверное, солонка неправильная.

Энн нашла ключи на крыше машины. Ее волосы были теплыми от солнца. Они с Уэйдом прислонились к машине, почти касаясь плечами. Оба глядели вдаль – туда, где дорога исчезала меж деревьев.

– Я могла бы о тебе заботиться, – сказала Энн.

Такого она от себя не ожидала, но ее голос звучал так спокойно, будто она давно собиралась это сказать. На самом же деле мысль пришла ей в голову только сейчас, и слова выскользнули так тихо, что он вполне мог и не услышать. Она выжидающе молчала, и тут десятки дроздов, всполошившись безо всякой видимой причины, разом взлетели с телефонного провода. Энн с Уэйдом смотрели, как они стягиваются и рассыпаются, словно подброшенная горстка черного песка.

После долгого молчания он сказал:

– Это было бы неправильно.

– Да, – сказала она едва слышно. – Но я бы хотела, если это возможно. – Она сама не знала, откуда в ней столько спокойствия. – Я могла бы переехать к тебе, – сказала она. – Остальное неважно. Мне все равно.

Он кивнул, затем оглянулся на школу, будто услышал какой-то звук.

– Иногда на долю секунды я забываю, – сказал он. – Мне кажется, что Мэй и Джун живы, что это Дженни умерла. А мы пытаемся как-то протянуть без нее и отдали бы все, лишь бы только перемолвиться с ней словечком, спросить, где что лежит, просто чтобы послушать ее указания. А потом я вспоминаю: я могу с ней поговорить. Могу написать ей письмо. Или съездить в тюрьму. Мне тошно от того, что такое возможно.

Они стояли бок о бок, прислонившись к машине. Она старательно избегала смотреть в его сторону, уставившись прямо перед собой, даже не двигаясь.

– Может, твоя дочка еще найдется, – сказала Энн, не в силах назвать Джун по имени. – Не стоит говорить о них так, будто они обе…

– Мне вообще не стоит о них говорить, – сказал он с легким упреком. Казалось, он рассердился на себя и на нее.

Она отошла от машины, и он открыл дверцу. Забрался внутрь, захлопнул дверцу и, немного помедлив, завел двигатель. Она стояла чуть поодаль и ждала, когда он на нее посмотрит. Он посмотрел, но только чтобы кивнуть на прощанье – сухо, даже холодно. Она сказала себе, что он больше не вернется.

Как только учебный год закончился, они поженились. Она ушла с работы. Он обнимал ее, а она вдыхала запах его куртки, терлась щекой о его плечо, не в силах поверить, что в них пробудились такие чувства. Но это было так; с самого начала. Она переехала в его дом на горе, в часе езды к северу от школы, он – они – разводили коз на мясо и молоко, он дрессировал собак и делал ножи, она

давала уроки игры на фортепиано. Только для взрослых, никаких детей. Она держала куриц и варила куриный суп, который они ели поздними вечерами. Они занимались любовью под колючим шерстяным одеялом, с удивлением обнаруживая, какие они заурядные, находя прибежище в наслаждении друг друга.

Она стучала сапогами о столб, чтобы сбить налипшую грязь, и ставила их на крыльце рядом с сапогами Уэйда.

Она возила на санках дрова для камина.

Иногда она пела.

Она так сильно любила его, что никогда бы не поступила иначе.

Тот августовский день, оставивший свой запах на его перчатках, – Энн прожила его столько раз, что ей уже кажется, будто она все видела своими глазами, и этого не изменит даже правда.

Уэйд и Дженни и Джун и Мэй.

Они далеко, на горе Лёй, загружают поленья в кузов пикапа. Почему бы не рубить дрова на своей горе, на своей земле?

Потому что им нужна береза, а береза на горе Айрис не растет. Береза лучше, плотнее других пород, у нее и теплоотдача выше. В «Никелз Уорс» рекламировали хорошую, дешевую древесину. Тот, кто ее заготавливал, явно не знал ей цену, а вот Уэйд знал.

Вот он стоит в кузове и укладывает дрова, оставляя зазор между поленьями и задним стеклом. Дженни отсекает топором мелкие сучки и закатывает поленья в кузов, прямо к его ногам. Ее работа тяжелее, но поленья она кладет криво, Уэйд вечно придирается – вот они и поменялись.

День жаркий и сухой. Лес кишит клещами, Уэйд сдавливает клеща между двумя пальцами, пока тот не лопнет, а кровь – кровь оленей, койотов – вытирает о

джинсы. Солнце палит, густой воздух напитан сладким ароматом пергаментно-тонкой бересты. Слепни выписывают узкие спирали вверх и вниз, повсюду. Из травы доносится стрекот кузнечиков, чем-то похожий на потрескиванье костра.

Тянется, тянется глушь, бесконечные горные кряжи, чинные и мощные, слоисто уходящие вдаль. В этих просторах таится угроза, и она ощущается всюду, пусть даже им со своего места ее не видно. Они так долго катили по узкой, ухабистой дороге, что вся их жизнь, кажется, осталась далеко позади.

Девочки нашли в кустах олений рог. Он может пригодиться папе – для рукояти ножа. Разгорается спор, каждая хочет преподнести находку сама. Затем, позабыв о папиных ножах, они начинают носиться по лесу, прикладывая рог к голове, как будто обе они олени. Джун гонится за Мэй, нахлестывая ее прутиком, а та скачет и виляет, обхватив рог двумя руками и придерживая его на своей светловолосой, ревущей голове.

Откуда взялось это воспоминание? С трудом верится, что это вымысел, нигде не услышанный и не увиденный. Образы, созданные из одной случайной детали: вскоре после свадьбы она нашла на горе Айрис олений рог, раскрашенный красным и зеленым карандашами. С ним когда-то играли девочки. Этот рог застрял в ее воображении, да и рождественские цвета тоже, вот она и добавила их к тому августовскому дню на другой горе, не имеющей к реальному рогу никакого отношения.

Вскоре рог уже съехал набекрень, Мэй придерживает его одной рукой. Она больше не скачет, хотя Джун продолжает ее стегать. Но Мэй волнуют только слепни, налетевшие из ниоткуда и отовсюду, чтобы покусать ее, толстые черные слепни с голубоватыми крылышками. Она хлопает по ним свободной рукой, но это не помогает, тогда она бросает рог в траву. Джун выкидывает свой хлыст. Они стоят посреди поляны и шлепают себя и друг дружку. Чаща хрустит и жужжит, и Мэй бросается прочь.

Те же слепни – в газетах о них не писали, про них не рассказывал Уэйд. Но если вспомнить передачу по старому телевизору в съемной квартире: посреди поляны стоит репортер, вдали – бледные поленья. «Никаких свидетельств того, что убийство было предумышленным…» И тут на руку репортера садится слепень, затем второй, третий, и он начинает говорить как-то торопливо, рассеянно – не под грузом излагаемых событий, а, скорее, оттого что изо всех сил старается не шевелить рукой.

Оставшись одна, Джун почти не обращает внимания на слепней, думает Энн, шлепает их вполсилы. Она идет по лесу, волоча за собой палку. Она идет на шум воды и вскоре видит перед собой прозрачный горный ручей, по берегам поросший кастиллеями. При мысли об Элиоте, навеянной ручьем, в ней всколыхнулись радость и тоска, и она садится на берегу, плотно обхватывая колени руками, растравляя в себе эти чувства. Повсюду, подобно капусте, растет коровяк, она срывает пушистый бледно-зеленый лист и кладет его на колени, чтобы можно было склонить голову и тереться об него лицом, будто это губы Элиота. Какие мягкие губы… Как они похожи на лист коровяка, щекочущий ей лоб. Не сам лист. Нет, между ней и листом – преграда из мягких волосков, покрывающих его поверхность. Она лишь с виду к нему прикасается, на самом же деле надо нажать сильнее, чтобы примять волоски, чтобы почувствовать лист кожей. Она только чуть елозит. Не больше. Иначе можно потерять это промежуточное состояние, когда листок становится предвкушением рта. Всегда предвкушением, самим ртом – никогда. Все, что она знает о своем томлении, она знает по этим образам, доступным в любой момент, если только она одна, даже без коровяка.

Затерявшись в фантазиях, Энн открывает глаза: Джун слышит, как захлопнулась дверца где-то вдалеке, – Мэй села в машину.

Дженни говорит:

– Давай остановимся.

Уэйд спрашивает:

– Все нормально?

У него такой чистый голос. Он кладет полено в стопку. С волос у него капает пот. Видно, как пот заливает ему глаза.

– Мне надо присесть на минутку, – бормочет Дженни.

– Отдыхай, торопиться некуда, – говорит Уэйд и проходит мимо, бодро и равнодушно.

На поляне лежит каменная глыба. Он забирается на нее, чтобы взглянуть поверх макушек деревьев, во всей фигуре уверенность. Руки скрещены, смотрит по сторонам.

Дженни открывает дверцу. На приборной панели стаканчик с лимонадом. Она залезает на сиденье. Берет стаканчик в левую руку и подносит к губам. Вяжущая прохлада во рту. Скоро сахар потечет по венам. Поверх белого ободка стаканчика виден лес. Она закрывает глаза. Топор в правой руке, свисает из открытой дверцы.

Сзади доносится шорох. Это ее дочка, Мэй.

Дженни не ставит лимонад на место. Краешком глаза сквозь боковое стекло она замечает внезапный всполох света, когда с дерева падает загораживавшая солнце ветка. Дженни дергает рукой, не той, в которой лимонад, иначе он разольется, правой рукой, еще секунду назад безвольно свисавшей из открытой дверцы.

Звук почти не отличается от других звуков, а теперь это уже и не звук. Слепни бьются о стекло. Снаружи подрагивают листочки, отломившаяся ветка повисла среди других ветвей.

Уэйд на своей глыбе смотрит вдаль.

На большее Энн не способна. Дальше она не заходит.

Иногда Энн даже не верится, что они поженились так быстро. Уэйд потерял дочерей в начале августа. В конце августа состоялось слушание, длившееся всего двадцать минут, на котором Дженни отказалась от права на судебную защиту, признала свою вину и получила пожизненный срок с возможностью условно-досрочного освобождения через тридцать лет. Ее безразличие к собственной судьбе не давало судье покоя, бесповоротность, с какой она признала вину, вызывала у него недоумение. Он требовал разъяснений, но она сказала только, что убила родного ребенка и хочет за это умереть.

Развод завершился в октябре. В феврале Уэйд снова появился в жизни Энн, а в июне они поженились.

В июне – и года не прошло после его немыслимой утраты. Но им казалось, что прошло гораздо больше. Если бы они тогда сознавали, что минуло всего десять месяцев, они бы, наверное, повременили. Но ей и в голову не приходило вести счет. Гибель Мэй перевернула весь мир, и отмерять время было как-то бесчувственно, жестоко.

Свой короткий медовый месяц они провели на побережье, хотя медовым месяцем они его не называли. Смерть Мэй и исчезновение Джун бросили тень на само это выражение, сделав его неуместным, даже грубым.

В первый же день после свадьбы, когда они гуляли по набережной курортного городка, зарядил дождь, а у них не было зонта. На фешенебельной улице стоял пустой, недавно проданный дом. Как они догадались, что ключ приклеен под крыльцом? Это волшебное чувство – холодок металла на кончиках ее пальцев.

Из-за сбоя в расписании все купе в спальных вагонах оказались заняты, и первую брачную ночь они провели на сидячих местах. Они не стали требовать, чтобы их перевели, – так решила Энн. Уэйд, конечно, хотел бы, да и потом, достаточно было шепнуть кондуктору, что они молодожены, и места бы нашлись, что бы там ни говорили в кассе.

Но они так долго откладывали свою любовь, что еще одну ночь можно было и потерпеть.

До того как они нашли пустой дом в первый день после свадьбы, самое большее, что они себе позволяли, – это держаться за руки, и был еще один поцелуй в зале суда, где они регистрировали брак. Этот поцелуй, с удивлением отметила Энн, был у них первым.

До свадьбы их отношения выглядели – и со стороны, и для них самих – как отношения педагога по фортепиано и взрослого ученика. После помолвки – если так можно назвать предложение Энн заботиться о нем в тот день, когда у него в куртке обнаружилась солонка, – они просто стали подолгу обниматься на прощанье. Она зарывалась лицом ему в грудь. Или вставала на цыпочки, а он водил носом по ее лбу. Они глубоко дышали, не разжимая объятий. Так могло

продолжаться несколько минут; они обнимались посреди класса – открытая дверь предвещала его скорый уход – или на пороге, подпирая дверь своими телами.

Им легко было себя сдерживать. Оба чувствовали одно и то же: нужно отложить все, даже признание в любви, пока они не будут связаны узами брака.

Дождь барабанил по крыше пустого дома, куда они проникли в первый день после свадьбы. На деревянных половицах перемещались тени от капель, струившихся по стеклянным дверям. Голые столешницы, пустые комнаты, ничего, кроме пачки соды в шкафу.

Они отпустили друг друга, чтобы вскоре воссоединиться. Он пошел вниз, а она бродила по первому этажу, их пальцы скользили по стенам, нашаривая выключатели.

Примерно в футе от пола из одной стены торчала серебристая ручка. Желоб для грязного белья. Энн опустила дверцу и заглянула внутрь. Внизу показалась макушка Уэйда: он стоял в подвале и держался за цепочку выключателя, за которую только что дернул, чтобы зажечь свет, пока она наблюдала из полумрака первого этажа. Он не знал, что она его видит, и от этого его макушка казалась какой-то очень уязвимой.

Энн бросила в желоб куртку, и та приземлилась ему на плечо. Он пощупал ее, удивленно взглянул вверх. Следом она бросила туфли, обе сразу. Одна из них угодила ему по голове. Их смешки повстречались в желобе, восходящий и нисходящий.

Она швырнула в желоб носки, те упали на пол, затем свитер, часы, ободок, сережки (две жемчужины, так потом и не нашлись), футболку.

И наконец, повозившись с намокшей тканью, стянула и кинула джинсы.

Он перестал смеяться. Ей видны были его плечи, и грудь, и лоб, и переносица. Он смотрел на свои руки, увешанные одеждой, и ждал. Его грудь всколыхнул вздох предвкушения. Как только он поднял на нее взгляд, словно бы говоря: «Ну-ка, ну-ка, а что будет дальше?» – на лицо ему упал лифчик. Застежкой прямо в глаз. Когда он снова посмотрел на нее сквозь слезы, полетели трусы.

Он положил ее вещи на пол, под желобом. И дернул за цепочку. Свет погас.

Когда послышались его шаги, ей вдруг захотелось укрыться в ванной, по всему телу прокатилось возбуждение. Но она ждала, не двигаясь с места.

Я никуда не пойду, сказала она себе. Плечами она прижималась к стене, голыми икрами ощущала холодную ручку желоба. Пусть сам ко мне идет.

Она ждала. Прикрыв улыбку рукой, затем убрав ладонь, затем и вовсе перестав улыбаться, она слушала, как он поднимается по ступеням. Еще секунда – и он стоит в полумраке в конце коридора, грустный, и серьезный, и красивый, губы приоткрыты, будто хочет что-то ей сказать, но просто не может.

Он подошел к ней и прижался ртом к ее губам.

В конце медового месяца, хоть они так его и не называли, в хижине на берегу океана, которую они снимали в ту неделю, Уэйд рассказал Энн все, что произошло, – в первый и последний раз.

Его воспоминания были обрывочными. Беседа повернула в это русло как-то незаметно, без ее ведома, в лучах закатного солнца. Энн спросила о его детстве. Он сказал, что вырос на севере Камасской прерии, неподалеку от Грейнджвилла. А затем, будто пришлось к слову, добавил:

– Я только через неделю сообщил своей матери, что внучек у нее больше нет. Для нее они жили на целую неделю дольше.

Энн ничего не ответила, чувствуя в его сердце какую-то неясную угрозу. Молчание тянулось бесконечно. Он сидел на деревянном стуле возле окна, она – на полу у камина.

Когда он наконец заговорил, его голос звучал отчужденно, будто принадлежал кому-то другому, глаза его были широко раскрыты.

Сквозь шок и отчаяние, сказал он, пробивалась лишь одна связная мысль: он должен увезти жену подальше от своего теперь уже единственного ребенка. Ради ее же безопасности Джун пришлось оставить в лесу. Что еще ему было делать?

– Я собирался за ней вернуться. – Повисла пауза. Затем он продолжил: – В полицию позвонила пожилая пара, жившая на ферме у подножия горы. Они нам помогли.

Энн отметила это «нам». Дженни и Уэйд, все еще вместе, все еще связаны в тот момент в его сознании. Она представила вой сирен вдалеке на проселочной дороге, представила, что Дженни могла видеть перед собой, – скажем, птиц, взлетающих с поля. Вот они рассыпаются и стягиваются, совсем как те птицы, за которыми будут наблюдать на школьной парковке Энн с Уэйдом всего девять месяцев спустя.

– Потом старый фермер написал мне письмо. Я его не читал. Но он там за что-то извинялся. Понятия не имею за что. В Мэй было столько жизни, – произнес он сдавленным голосом. – Столько… – Он уронил лицо в ладони.

Энн хотелось дотронуться до него, но она боялась потревожить чувство, спустившееся на него в этой хижине на берегу океана в последний день их путешествия. Она и помыслить не могла, что Уэйд найдет в себе силы о таком рассказывать. Он вздернул подбородок, набрался мужества.

– Я стоял в кузове, складывал дрова, и тут мимо прошла Мэй. Ни слова нам с матерью не сказала, даже не помахала. Просто открыла дверцу и села в машину. И так захлопнула, будто за что-то на меня обиделась. Или на Джун. И я подумал, сейчас придет Джун и все расскажет, что там сделала Мэй и как они поссорились, и еще я подумал, почему обязательно надо ссориться, такой ведь хороший день? – Он замолчал. Посмотрел Энн прямо в глаза. – А потом Мэй запела, и я подумал – похоже, все-таки она не обиделась. Сидит там себе и поет. И ничего еще не произошло. Я стал дальше укладывать поленья. И мы не… Просто… Ничего еще не произошло.

– А где была твоя старшая дочь? – Энн старательно избегала называть их по именам.

– Играла где-то неподалеку. Все было нормально, абсолютно нормально. Потом Дженни сказала, что хочет пить, и мы устроили перерыв. Я пошел в тень. Я слышал, как Дженни села в машину. Видно, она не выпускала из рук… Не знаю, сколько прошло времени. Немного. Послышался треск, и я обернулся. К машине бежала Джун. Она улыбнулась и помахала рукой – наверное, я первый ей помахал. Она двинулась к водительской дверце.

Он слегка наклонился, уперся в колени ладонями. На этот раз она до него дотронулась. Накрыла его руки своими.

Она готова была заплакать.

– Я не понимаю почему… Не понимаю.

– Потому что понимать тут нечего, – сказал он, убирая руки и меняясь в лице, – возможно, слезы его пугали. Затем он поднялся, чуть подальше переставил стул. Бессмысленное движение, ведь больше он не садился. Он просто стоял на месте, слегка покачиваясь. Уставился в окно. Воды не было видно, только белый пляж, и трава, и туман. Говорил он тихо, но сердито. – Это не был несчастный случай, это не был умысел. Это просто произошло. С ней, при ее участии, вот и все.

Он молчал, не отрывая взгляда от окна. Сдерживая слезы, Энн поплотнее закуталась в одеяло, и в этот момент она впервые ощутила боль негласной логики, которую пронесет с собой через всю жизнь, – мечтая вернуть дочерей, он мечтал, чтобы Энн не была его женой.

Комнату омывал теплый вечерний свет. Уэйд убрал со стола тарелки и положил в мойку. Взял ведро с раковинами из-под устриц и выплеснул в песок у крыльца. Потом некоторое время стоял к ней спиной и слушал плеск волн.

С тех пор она ограничивалась лишь смягченными вопросами, лишь туманными намеками и порой получала ответы. Так она узнала, что в последний раз Уэйд виделся с матерью Дженни на слушании. Отец Дженни умер, когда Джун и Мэй были еще совсем крохами, и мать приехала в суд одна. В тот день они с Уэйдом не разговаривали, но несколько месяцев спустя она позвонила ему – просто сообщить, что ездила в тюрьму, но Дженни к ней не вышла. Уэйд не знал, что сказать. Не знал, как утешить бывшую тещу, не знал, как позволить ей утешить

себя. Она, должно быть, почувствовала то же самое, потому что это был их последний разговор.

Всплывали и другие подробности, постепенно, но Уэйд больше никогда не рассказывал всю историю целиком. Да и зачем, если он уже все выложил без обиняков, уже сказал все, что – как он считал – был обязан сказать? Но она чувствовала, что история живет дальше, повсюду, и везде искала смысл, даже в чужих взглядах.

Поселившись в доме на горе, она годами ездила за покупками в соседний городок Сэндпойнт больше чем в часе езды, потому что ей было невыносимо бродить по рядам в магазине «Миллерз», что в двадцати минутах от дома, где на всех лицах написан один и тот же незаданный вопрос. Пять лет прошло, шесть, семь, но жители Пондеросы по-прежнему недоумевали. Их завороженный интерес переместился на Энн. Она была для них непостижима. В глазах этих людей не было конкретного вопроса. Ни «Каково это?». Ни «Как нам с тобой себя вести?». Ни «Зачем ты за такого вышла?». Вопрос был туманным, гнетущим, повсеместным.

Не вопрос даже, а простая констатация факта – одним взглядом.

Я тебя знаю.

И это ваш вопрос?

Я про них слышал.

Да.

И даже теперь, столько лет спустя, вопрос облечен в форму страха. Подростки, которые тогда еще были детьми, не встречаются с Энн взглядом.

Иногда вопрос облечен в форму вежливости. Какой-то старик в магазине комбикормов в Спирит-Лейке придержал ей дверь, – старик, который явно не имеет обыкновения придерживать людям двери. Вопрос облечен в форму самонадеянности. Работница почты в Пондеросе смотрит свысока, держится важно, как посвященная, будто из-за того, что ее пальцам посчастливилось

перебирать письма Энн, ей открылось все их содержимое: вранье, мольбы, ложные следы, грязные сплетни, увлажненные и запечатанные языками прошлого.

Но в Сэндпойнте, куда Энн ездила первые несколько лет, о ней никто даже не слышал. Она медленно бродила по магазинам, незнакомка. А после спускалась к воде полюбоваться закатом над озером Панд-Орей. Верное своей форме, озеро словно бы слушало. Ухо. Энн стояла у верхней его оконечности и слушала тоже – ледниково-древнюю тишину воды, и в этой тишине предавалась фантазиям. Смутно чувствовала, как Джун блуждает по неправдоподобным судьбам, – одни ужасают, другие вселяют надежду, ни одна не ведет к домику на рукояти ножа.[5 - От фр. pend oreille – «висящий в ухе».]

Почему из всех событий и деталей этот домик представлять больнее всего? И девочку, которая стоит в вестибюле школы, высматривает Элиота, прислушивается, не прокатится ли по коридорам его смех, водит пальцем по сердечкам внутри цветов на рукояти?

Элиот вернулся в Айдахо после окончания школы. Через семь лет после его отъезда, когда ему было двадцать четыре, Энн увидела его из окна машины. Он стоял у палатки с фейерверками на шоссе неподалеку от Пондеросы, и с ним была молоденькая девушка. Легкое зеленое платье в клетку, черная стильно-небрежная коса. На вид она была младше Элиота, но Энн бы не поручилась. Момент, который она увидела, походил на фотографию. Девушка склонилась над картонной коробкой с надписью на отвороте «Щенки ротвейлера 25 долл.». Энн не видела щенков, не видела, как девушка запустила руку в коробку, чтобы вытащить одного из них. Она увидела, что произошло секундой раньше, – как, приглашая Элиота разделить ее восторг, девушка сжала его руку, опиравшуюся на костыль. И все. Когда Энн проехала мимо них, поток воздуха взметнул волосы у девушки на висках.

Энн миновала бензоколонку и почту, площадку для хранения гравия и прачечную, затем дорога свернула и по обе стороны потянулся лес. Она съехала на обочину и заглушила мотор.

Рука девушки на костыле – было в этом что-то окончательное. Джун бы тоже заметила. Окажись на месте Энн подросшая Джун, она бы потом долго

вспоминала эту девушку, ее ладонь у Элиота на руке, вряд ли с болью в сердце, ведь любовь давно прошла (будь она жива, ей было бы шестнадцать; когда она в него влюбилась, ей было девять), скорее с легкой грустью, ведь среди всех версий будущего, которые она когда-то рисовала себе, были и такие, где ее спутник – одноногий молодой человек.

Она его любила. Они обе его любили. Джун и Энн. Это был единственный факт о Джун, который Энн узнала сама, не от Уэйда и не из новостей. Никто, кроме Энн, не видел Джун у его шкафчика после уроков – теребит свою коробочку, розовый свитер жмет в плечах. И этот упрямый рывок, когда она положила подарок в шкафчик, потому что решила верить, что его найдут.

И его, конечно, нашли.

Сидя в машине на обочине, Энн застыла в неподвижности: руки на руле, спина прямая и напряженная, взгляд устремлен на колени. Когда все тело заныло, она заставила себя посидеть так еще немного, а потом еще, чтобы придать достаточно веса тому моменту, когда девушка сжала руку Элиота, потому что Джун – и это было единственное, что Энн знала наверняка, – мечтала о таком моменте для себя.

В тот день Энн впервые позволила себе ощутить вероятность – вполне весомую, – что Джун нет в живых.

Как только Энн повесила трубку, ее захлестнуло чувство вины. Так было и в предыдущие пять раз, когда она звонила в тюрьму, и каждый раз она потом долгое время не могла смотреть Уэйду в глаза. Не считая самой отправки книги, это были единственные случаи, когда ее воображение простиралось в реальность, оборачивалось настоящей угрозой.

Пытаясь унять угрызения совести, Энн поднимается с пола и направляется к фортепиано. Едва дыша, она начинает играть по памяти в надежде, что взметнувшиеся где-то внутри обвинения поулягутся.

Но в ее памяти хранится и голос Уэйда. Он оттягивает кончики нот, как органный пункт, ноющая боль: иногда на долю секунды я забываю. Мне кажется, что Мэй и Джун живы, что это Дженни умерла. А мы пытаемся как-то протянуть

без нее.

Так и есть. Они пытаются понять, найти друг в друге недостающий фрагмент. Энн впуталась в эту таинственную историю, вторглась в его прежнюю любовь, притронулась к запретному. Затесалась туда, где ей не место. На книжную полку в тюрьме. В тюрьме, где протекает вторая половина жизни Уэйда.

А потом я вспоминаю: я могу написать ей письмо. Мне тошно от того, что такое возможно.

Ей тоже тошно – прикасаться к тем клавишам, которых касалась когда-то Мэй. Столько лет прошло, столько фантазий, а ей все не верится, что Мэй и впрямь больше нет.

Зато Уэйд понимает это как никто другой. Она даже представить себе не может, каково ему. А что будет, если он обо всем узнает? Что он почувствует, представив, как Дженни проводит пальцем по корешку, достает с полки книгу, находит в ней обрывки своего прошлого?

Энн закрывает глаза и подается вперед, выталкивая себя из этого ужасного дня. Она исполняет композицию, которую играла в студенческие годы в Дареме. Некоторые такты стерлись у нее из памяти, но она так ловко это маскирует, будто их никогда и не было. Заменяет их вариациями.[6 - Университет в одноименном городе на северо-востоке Англии.]

Но за музыкой не спрятаться, и она прекращает. Комнату наполняет фортепианная тишина. В окно она видит мужа, идущего в мастерскую по грязному, заснеженному саду.

Он отворяет дверь и скрывается внутри.

Чтобы найти прощение в его близости – она не будет сознаваться, просто постоит рядом, позволив ему любить ее своей несведущей любовью, – она выходит из дома и пересекает сад. Она слышит, как он мурлычет какую-то песенку, слышит звон металла. Он стоит к ней спиной, склонившись над подносами. Что-то зажато у него в ладони.

Она подходит к нему и кладет ему на спину руку. Он оборачивается, улыбается грустно и удивленно, затем разжимает ладонь. В ней деревянная рукоять ножа. Большим пальцем он смахивает забившуюся в углубления древесную пыль, и тут Энн замечает выжженные на рукояти очертания двух гор, его фирменный знак.

– Красота какая.

– Нравится?

– Очень.

– Это для тебя. Клинок выковал из рессор с того старого пикапа, который мы с тобой нашли.

– Правда?

Она берет в руки гладкий деревянный брусок.

– Для тебя, – повторяет он. – Я как раз искал клинок. Никак не вспомню, куда я его задевал. В кабинете его нет.

– Уэйд… – говорит она. – Спасибо.

Простота его подарка, невинный сюрприз. Никогда прежде Энн не охватывала такая тоска. Щемящая, как любовь. Ради нее этот мужчина выжег в дереве горы.

Неверно истолковав выражение ее лица, он расплывается в улыбке. Мечтая укрыться в его заблуждении, она встает на цыпочки и обнимает его. Он целует ее в плечо, приписав этот прилив нежности благодарности за деревяшку у нее в руке.

Но дело вовсе не в благодарности. А в высвеченном ею предательстве. Пока Уэйд прижимает к себе Энн, она прижимает к себе свои секреты. Пока он вырезает цветы в мастерской, она закрывается в спальне с телефоном.

Мне тошно от того, что такое возможно.

Он покрывает ее лицо поцелуями. Ей хочется во всем признаться, но с чего начать? Как поступить бескорыстнее всего?

Уткнувшись носом в ее волосы, он вдыхает их запах. Затем немного отстраняется.

– Энн, – говорит он. – Ты куда-то успела отлучиться?

– Я тут. – Она грубо целует его в губы, целует, едва сдерживая слезы.

Он мягко смеется.

– Да нет же, у тебя волосы гарью пахнут. – Он снова зарывается в них лицом. Затем заглядывает ей в глаза, на этот раз внимательно.

Она осторожно произносит:

– Я ничего не чувствую.

– Еще утром они так не пахли.

– Да?

– Нет, правда, ты куда-то ездила? – Сквозь простоту вопроса в его голосе слышится напряжение. Напряжение слышится и в молчании Энн. – Зачем ты заводила пикап? – тихо спрашивает он.

Она могла бы рассказать ему сейчас. Могла бы.

Подняв на него глаза, она пересекает черту, которую никогда прежде не пересекала.

– Иногда я просто сижу там.

– Зачем?

– А как ты думаешь? (Он не сердится, но не знает, куда смотреть. На нее он смотреть не может.) Уэйд. Как ты думаешь, зачем я там сижу? – Она говорит это ласково, хотя знает, что своими словами причиняет ему боль, и уже чувствует, как внутри у нее набухает что-то совсем не ласковое. – Расскажи, что ты помнишь.

Он сжимает и разжимает пустую ладонь, мотает головой. Она делает шаг вперед.

– Зеркало заднего вида. Сейчас оно приклеено на место. Но ты его сорвал, так ведь? Ты сорвал его в тот день. – Он все мотает головой, в глазах паника; сквозь слезы она продолжает: – Ты видел в зеркало Мэй.

Он отворачивается.

– Ты мой муж, – говорит она твердо. Хотя сама плачет. Она протягивает к нему руку, чтобы сгладить свое недовольство, свою жестокость, но, даже дотронувшись до него, не может себя остановить. – Тебе не нравится, когда я туда хожу, но ты не знаешь почему. Ты так злишься, а сам даже не помнишь причины.

Уэйд пятится от нее. Ему хочется отвлечься, чем-то себя занять. Он устремляет взгляд в окно, выходящее в сад. К стеклу присохли грязные брызги. Он бережно проводит по ним пальцем, пытаясь стереть, но они с другой стороны.

Эти брызги за тысячу миль. Сознавая, что продолжать бесполезно, изнемогая от этого осознания, Энн опирается на стол, но тут же ненароком опрокидывает поднос с клинками. Она пытается подхватить его, но поздно. Клинки с жутким дребезгом сыплются на пол, и она зажимает уши. Секунду она смотрит на них. Затем, почти радуясь возможности отвлечься, опускается на колени, чтобы их собрать.

За спиной у нее раздаются шаги. Обернувшись, она с содроганием отмечает, что Уэйд тоже обрадовался, ухватился за эту ситуацию. Наконец-то что-то физическое – такое, что можно услышать и увидеть. Маленький погром. Не дав ей опомниться, он хватает ее за плечи и прижимает лицом к рассыпанным по полу ножам.

– Нет, нет! – кричит она. Во рту вкус крови из рассеченной губы. Она сопротивляется, но так только больнее.

Он держит ее крепко.

– Пожалуйста… – шепчет она, зажмурившись.

И тут он ее отпускает. Шатаясь, отходит назад, будто поранился он сам.

Она трогает губу – проверить, глубокий ли порез. Смотрит на каплю крови на кончике пальца, затем на Уэйда.

Он в ужасе.

– Энн…

Слезы бегут по ее щекам. Он тянет к ней дрожащие руки, чтобы помочь подняться. Но она ему не позволяет. Она встает сама. Поворачивается к нему спиной, выбегает во двор и опрометью бросается прочь.

Спасаясь от слепней, Мэй умчалась к машине, и Джун осталась одна в полуденной тиши. Сидя на корточках среди зарослей коровяка, она плюет в ямку, которую проковыряла в земле пальцем. Когда слюна шлепается в ямку, она засыпает ее и плотно утрамбовывает ногой. Затем вытирает грязный палец о штанину.

Конечно, так делала Энн, а не Джун, и было ей не девять, а гораздо меньше. Но какая разница. Энн представляет, как Джун исполняет ее ритуал тем августовским днем, на горе Лёй, в укромной березовой рощице у ручья, где она придумала спрятаться от слепней. Энн представляет, как с тонких губ соскальзывает слюна, как темноволосая девочка проходится по рту грязным розовым рукавом, как оставляет во влажной земле отпечаток стершегося до серости розового ботинка. Энн не сомневается: отправься она сейчас на гору Лёй – хотя точное место ей неизвестно, – и отпечаток будет там, в зарослях крапивы, затвердевший, точно гипсовый слепок, который сняли потом полицейские.

Мэй небось уже выхлебала весь лимонад. Джун подхватывает с земли палку и лупит по дереву, заранее досадуя на сестру. Впереди виднеется поляна, но что-то не слышно, как грузят в машину дрова. Не стучат больше о кузов поленья. Наверняка у них перерыв. У Джун загораются глаза. Из бардачка достанут сладости. Мэй будет ныть, что ее покусали слепни, и мама смажет укусы лосьоном, а потом Мэй, как обычно, перемажет маме всю шею своим липким лицом.

Липким лицом: засохшее варенье на полароидном снимке.

Джун видит папу, который взобрался на глыбу и окидывает взглядом окрестные горы. Рядом с ним мама, стоит не шелохнется, смотрит не на горы, а на груду поленьев, после стольких трудов ничуть не поредевшую, – бесконечная груда, которая задержит их в жарком лесу на весь день. Затем мама подходит к пассажирской дверце пикапа. Надо спешить; Джун не знает, какие там сладости – все одинаковые или же придется воевать из-за начинки с Мэй. Она бежит, все быстрее и быстрее, но в каких-то шагах от пикапа останавливается завязать шнурок. На ботинки налипла грязь, и она стучит ими о пень.

Стукнула в последний раз – и раздался странный звук. На миг ей кажется, что это от ее ботинка. Но потом она поднимает голову и видит: с вершины дерева отвалилась ветка и застряла среди нижних ветвей. Всюду трепыхают листочки.

Она отрывает взгляд от крон деревьев. Подходит к машине с водительской стороны.

Заглядывает в окно.

Джун представляет маму на кухне: та делает множество дел сразу, хотя с удовольствием занялась бы чем-то одним. Скажем, почитала бы книжку. Но тут столько всего. Допустим, она моет сковородку, пристроив книжку на столешнице, чтобы удобнее было читать. Допустим, у нее за спиной на плите кипит суп. Допустим, он вот-вот убежит, но в самую последнюю секунду мама – спокойно-преспокойно – отворачивается от раковины и от книги, чтобы убавить огонь, а после возвращается к своим делам. Суп не убежал – чудом.

Вот какое оно привычное – движение маминой руки. Как выключить духовку на полуфразе. Затем договорить.

С ловкой, практичной грацией ее правая рука описывает полукруг над приборной панелью, затем – с легким поворотом корпуса – пролетает между передними сиденьями и, наконец, заносится назад. Быстрая дуга жизни, и на Мэй обрушивается удар топора.

Та мирно съезжает в кресле.

Как нет никакого перехода между тем, что было, и тем, что стало, так и Джун ни на секунду не задумывается, ничего не решает. Крутанулась и бежит, безотчетно, в страхе перед тем, что теперь возможно. Сухие ветки хрустят под потертыми розовыми ботинками, папа окликает ее – сначала обычным голосом. А потом – видно, заметил промельки крови в салоне – каким-то чужим, тошнотворным голосом, точно забившийся водосток, и все выкрикивает ее имя – непонятно зачем. Но она едва слышит, густой кустарник больно жалится. К рукам липнет невидимая паутина, а она все бежит.

«Стой, стреляют». Проносясь вниз по склону, мимо этих табличек на деревьях, Энн чувствует угрозу как некую границу в воздухе. Теперь, когда опасность поджидает даже дома, угроза эта стала еще ощутимее. Земли, куда она только что вторглась, земли, которые она пересекает от отчаяния, нелюбимы и нетронуты – лишь новые жуткие таблички появляются каждые несколько лет. Необъятные просторы дешевой земли, чьи владельцы кучкуются на пятачках у дороги, поближе к долине, ведь поселишься выше – зимой не оберешься хлопот. Акры за акрами, при этом целые поколения не отходят дальше чем на двадцать футов от своих передвижных домов. И все же от грязных диванов, где в мельтешащем свете телевизора валяются спящие тела, исходит право собственности; широким взмахом оно простирается над каждым деревцем и камнем, входящим в его законные – и справедливые – пределы, и тогда деревья с камнями становятся чем-то иным, историей людей, заявивших на них свои права; есть что-то недоступное, заговорщическое в темных стволах. Энн бежит со всех ног, по оврагам, сквозь холод, цепляясь за ветки, чтобы не упасть, обжигая ладони, и все больше убеждается, что эта земля, которой они все так гордятся, ничего не стоит. Холмистая, иссушенная, пыльная, летом выжженная пожарами, да и само лето – короткая передышка между зимами, главной чертой этих гор.

Она останавливается перевести дух, прикладывает к порезу комок снега. Ноги промокли и замерзли. Воздух волглый. Она бросает окровавленный снег на землю. Оглядывает озябшие руки, а когда снова поднимает глаза, замечает ворота между двумя соснами, а на них – табличку с надписью от руки: «Ферма эму: яйца, мыло, масла».

Растерев лицо снегом, она отворяет калитку. Ровно посреди двора стоит передвижной дом; сбоку и сзади, захватив кусочек луга, его огибает загон для эму. Под пристальным взглядом высокой птицы, склонившей голову набок, Энн направляется к дому. Птица поднимает одну ногу и загибает когтистый палец, будто у нее назрел вопрос. В отдалении, среди деревьев, доисторически прохаживаются другие эму, грязные и царственные.

С таким глубоким порезом ей, вероятно, потребуются швы. Кому-то придется отвезти ее в больницу. Она пока не решила, что скажет, не решила, стоит ли откровенничать. Но она так замерзла, так вымоталась, что даже думать об этом не может.

В нескольких шагах от крыльца ее обдает запахом изнутри дома. Это теплый, влажный запах, тяжело висящий у входа, несмотря на холод. Сбоку от крыльца крошечная пристройка из вагонки, внутри виднеется коврик для ванной и собачья миска.

Она стучит. Почти сразу дверь открывает пожилая женщина с седыми волосами.

– Мне нужно… – начинает Энн. Но женщина так спокойно на нее взирает, ни слова не говоря о ее рассеченной губе и даже не меняясь в лице, что Энн как-то теряется. – Я увидела табличку на калитке, – растерянно бормочет она.

Женщина кивает и жестом приглашает ее войти.

– Ждите здесь, – говорит она, затем исчезает в одной из комнат и миг спустя возвращается с клочком туалетной бумаги. Энн благодарит ее и промокает губу. Она готова расплакаться от облегчения – наконец-то хоть кто-то признал ее боль, пусть даже клочком туалетной бумаги.

Но женщина ничего не говорит про ее губу. Через тесную кухню они проходят в гостиную. На диване, перед телевизором, водруженным на две стопки журналов,

сидит крупный мужчина. На стене пятнами проступают разводы, у дивана, уткнувшись мордой в лапы, стучит хвостиком по полу болезненного вида собачка.

– Вепшин, – ворчит мужчина, и стук прекращается.

Мужчина тоже не обращает внимания на ее губу, хотя туалетная бумага уже вся пропиталась кровью.

В дальнем конце комнаты на стеллаже расставлены товары с надписанными вручную ценниками.

– За студнем приходите летом, – говорит женщина. – У нас постоянно спрашивают студень.

– Нет-нет, ничего не нужно, – говорит Энн. – Мне бы только… Если вас не затруднит…

Собака приплелась к ногам женщины и поскуливает. Женщина опускается на колени и обхватывает ее морду ладонями, любовно приговаривая:

– Знаю, знаю, ты у нас уже совсем старенький. – Затем она встает. – На верхней полке мыло из жира эму, лаванда вон растет за окном. – Она указывает на ящик, закрепленный снаружи на подоконнике. – Дальше у нас идет мясо, сами коптили, потом массажные масла, масло для волос, масло для ванны. Там все на этикетках написано. Ну вы смотрите, читайте. Меня Джина зовут.

Джина уходит на кухню, где, судя по звукам, жарятся в жире от бекона яйца эму.

У Энн трясутся руки. Есть в этом доме что-то зловещее, от чего слова застревают в горле. Но что – она не знает. Ей хочется поскорее уйти, но сначала надо подумать. Если уходить, то куда? Прижимая к губе туалетную бумагу, она берет с полки мыло и смотрит на ценник: десять долларов. Десять долларов? Бутылочка масла для ванны – пятнадцать. Обернувшись, она видит Джину на кухне, слышит, как шкворчат и лопаются яйца на сковородке. Мужчина по-прежнему смотрит спортивный канал, собака стучит хвостом у Энн под ногами,

пыхтя как-то слишком уж громко, настолько громко, что всюду в воздухе разливается ее дыхание. Влажное, грязное, оно оседает у Энн на коже, и ей уже не терпится отсюда убраться.

Все это ощущение хаоса, осознает она вдруг, проистекает от непрерывного жужжания. То громче, то тише.

И тут она впервые замечает, что за стеллажом с товарами, в темном углу, устроена отдельная комнатка величиной с чулан. Она заглядывает туда. И в таинственном сиянии видит мальчика.

На вид ему лет десять. Он склонился над столом. В руке у него что-то жужжит. Она приглядывается. Это продолговатый прибор с насадкой-иглой. Прибор подсоединен к черной коробке с различными кнопками и ручками, а та включена в розетку. Энн смотрит на мальчика со спины, в ежике волос – белый шрам, на тонкой красной футболке – дырка прямо у горловины.

Перед ним внутри специального бокса с подсветкой лежит крупное яйцо, изумрудное с бирюзовым и белым. С помощью прибора он занимается гравировкой по скорлупе. Самого рисунка ей не видно, а виден лишь свет сквозь нити узоров. Все вокруг заставлено другими такими же яйцами с гравировкой и резьбой: лесные пейзажи, пумы, медведи. Они прекрасны настолько, что дух захватывает. Мальчик видит ее краем глаза, но не поднимает головы. Он углубляется в работу, и жужжание продолжается, будто Энн там и нет вовсе.

– Привет, – шепчет она.

Мальчик что-то бубнит, но его слова заглушает шум инструмента.

Он вырезает портрет девушки. Ее лицо вписано в сложную мозаику ветвей, перерастающих во вьющиеся пряди, гребешок в волосах – острый полумесяц в небе. Стволы получаются темно-зелеными, контуры лица – белыми. Энн наблюдает, как иголка выписывает тонкую линию подбородка.

– Эту хотите? – За спиной у нее возникает Джина, руки скрещены, в пальцах кухонная лопаточка.

– Я как-то не думала… Не знаю, – отвечает Энн.

– Цены Баззи назначает, не я. Назови ей.

Мальчик выключает прибор, бросает на Энн долгий, скучающий взгляд, рот слегка приоткрыт.

– Портреты восемьдесят, цветы шестьдесят, горы семьдесят, – перечисляет он будто из последних сил.

Энн мотает головой.

– Что, не по карману? – холодно интересуется Джина.

– У меня с собой столько нет. Я здесь не за этим.

– У вас ничего нет. Только замерзшие ноги и рассеченная губа.

Энн всхлипывает.

– Нет… – бормочет она. Голова идет кругом, темная комната покачивается перед глазами. – У меня муж в беде.

Но мальчик уже снова включил инструмент. Он просверливает в толстой скорлупе отверстие по центру изумрудного глаза – зрачок, воплощенный в отсутствии зрачка, в дырочке, сквозь которую льется желтый свет.

Затем грязной рукой смахивает пыль от скорлупы.

– Мне пора, – говорит Энн. – Мне пора.

Споткнувшись сначала о больную собаку, потом на прогнивших ступеньках, она выбегает во двор. Идет снег. Джина кричит ей вдогонку: «Закройте калитку!» – но смысл слов доходит до Энн, когда калитка уже давно позади. Она не понимает, чего боится, но бежит без остановки, чувствуя, что руки и ноги ей не принадлежат, что она словно выпала из собственного тела и застряла тут, в

сугробах и суматохе чужой жизни.

Уэйд как-то рассказал ей – не в тот вечер на побережье, а в другой раз, когда он даже не собирался заводить эту тему, – что сначала полиция арестовала его.

Он остановился у первой же фермы. К дому подъезжать не стал, затормозил посреди дороги, выскочил из машины и побежал. Но когда приехали полицейские, началась такая неразбериха, что они не знали, кого задерживать. Уткнув Уэйда лицом в машину, они надели на него наручники, а он даже не сопротивлялся. И это при том, что неподалеку, на гравийной дорожке, вся в крови сидела Дженни. Приобняв ее за плечи, старая фермерша пыталась ее успокоить. Полицейские понятия не имели, что делать с пикапом, где находилась Мэй. Никому не пришло в голову его отогнать, и он так и стоял посреди дороги. Много времени было упущено из-за самого Уэйда, который твердил, что ему надо вернуться к уцелевшей дочери. Полицейские ничего не понимали. Они решили, что он спятил, что умоляет отвезти его не в определенное место, а в определенный момент времени, когда дочка еще была жива, словно Мэй ждала его там в нескольких секундах от взмаха топора.

После тщетных попыток привлечь к себе внимание, ведь поначалу – из-за ребенка на заднем сиденье и мужчины, который порывался «вернуться» к дочери, – никто ее не замечал, Дженни слабым голосом (как представляет себе Энн) произнесла: «Это сделала я». Но с Уэйда и тогда не сняли наручники. Возможно, потому, что он и не просил; просил он лишь об одном – вернуться за старшей дочерью, а они не понимали, не могли понять.

Когда полицейские наконец сообразили, что речь идет о другой девочке, двое из них поехали с Уэйдом на гору Лёй. Уэйд сидел сзади и говорил, где поворачивать, а все остальное время молчал. Они тогда еще не знали, что Джун пропала. У Уэйда и в мыслях не было, что она может не захотеть, чтобы папа ее нашел, а потому поисковый отряд с ищейками вызвали только через час – когда добрались до поляны и обнаружили, что, кроме парочки ворон, греющихся в лучах солнца на груде березовых дров, там никого нет.

Они искали Джун повсюду, выкрикивая ее имя, похрустывая пенопластовыми стаканчиками под черными ботинками. А когда наконец прибыл поисковый отряд, ищейкам дали понюхать перчатку из оленьей кожи.

Почему, если перчатка была твоя, спросила Энн.

Потому что утром Джун шутки ради ее примерила. До чего смешно выглядели детские ручонки в его гигантских перчатках. Эта часть рассказа далась ему труднее всего; он не плакал, но горе было написано у него на лице. Шутка Джун с папиной перчаткой. Он вспомнил, потому что так было нужно. Потому что в пикапе не нашлось никаких ее вещей. Потому что собакам надо было взять след, и вот что он нарыл для них в закромах памяти.

Но, возможно, запах Джун перекрылся его собственным: собаки то и дело гнались по ложному следу среди оврагов и ручьев.

И позже, когда фотографии Джун появились в супермаркетах и на заправках, ее не видел никто, даже те, кто смотрел во все глаза. Никто, кроме Энн и Уэйда: для них детские лица то и дело на миг приобретали ее черты. Лица на обложках журналов, на рекламных плакатах, на листовках в библиотеке. Малейшее сходство, смутный намек в линии носа, и вот она: в проезжающей машине, в рекламном ролике, в паутинках света, пробивающихся сквозь скорлупу яйца.

Солнце уже почти зашло, а Энн заблудилась и выбилась из сил, так и не сумев сориентироваться в этом лесу. Кровь уже не течет, но рассеченная губа гудит на морозе. Энн охватывает паника, дикий страх – не замерзнуть насмерть, а что ее потом не найдут.

Но тут взгляд ее цепляется за какой-то предмет в стороне. Кресло. На миг – посреди леса, в зимнем свете – паника стихает. Энн забывает о боли, и об ужасах фермы эму, и о том, что с ней сделал Уэйд, и неотрывно смотрит на это кресло, будто одна мысль о его соседстве с камином в гостиной способна ее согреть. Подушка от кресла изодрана в клочья и разметана по жухлому снегу.

Рядом валяется деревянная картинная рама без стекла и задника и еще – настольная лампа. Ни абажура, ни лампочки, ни шнура – одна лишь ножка, опрокинутая набок и частично зарытая в землю.

Энн подбирает ее. Синий фарфор в тон креслу. Повертев ножку в руках, она смахивает запекшуюся спереди грязь, и ее взгляду предстает синий домик, вписанный в белый овал.

В раннем детстве у нее было очень четкое представление о том, что значит быть взрослой, и значило это – иметь свой дом и заполнять его такими вот вещами. По отдельности эти вещи не вызывают у тебя никаких чувств, ты даже не помнишь, как выбирала и покупала их, годы жизни сами скопили их за тебя, и теперь они выступают от твоего имени. Такие вещи, по разумению маленькой Энн, были необходимыми, и скучными, и прекрасными, а еще они гармонировали друг с другом. Какие бы напасти ни подстерегали тебя во взрослой жизни, их воздействие ослабевало благодаря определенности этих самых вещей, благодаря их защите, словно все вместе они были наделены волшебной силой, такой беспорядочный щит.

Лампа навевает воспоминания о пустом доме, куда они забрели во время медового месяца.

Озябшая, нагая, счастливая, стыдливая, она стояла в холле, поджидая Уэйда, и ее взгляд устремился в комнату напротив и вмиг ее наполнил. Стульями, и кроватью, и картинами, и лампой – в точности как эта. Синей. В промежуток времени между двумя шагами Уэйда на лестнице она наполнила пустовавший дом их будущим.

А когда они занимались любовью в холле на чистом холодном полу, она чувствовала, что эти вещи и впрямь окружают их, что в углу пустой комнаты, скрытая от взгляда, примостилась кровать с новыми подушками. Энн мерзла всюду, где их тела не соприкасались. Спиной она прижималась к дощатому полу. Всю свою одежду она скинула в желоб для грязного белья, и та лежала где-то далеко внизу.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

От фр. l’Cil – «глаз». – Здесь и далее примеч. перев.

2

Голубая сиалия – небольшая певчая птица, символ штата Айдахо. Самцы имеют ярко-синее оперение, самки – бледно-голубое. Считается, что благодаря своей расцветке птица приносит удачу.

3

Чартерные школы США – независимые школы с государственным финансированием, где деятельность регламентируется специальным договором («хартией»), часто с каким-либо уклоном или альтернативным подходом к обучению.

4

Кость в соединительной ткани полового члена.

5

От фр. pend oreille – «висящий в ухе».

6

Университет в одноименном городе на северо-востоке Англии.

Купить: https://tellnovel.com/ru/raskovich_emili/aydaho

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить